

притяжение больше чем любовь



18+

Ани Вебр

Притяжение больше чем любовь

«Автор»

2026

Вебр А.

Притяжение больше чем любовь / А. Вебр — «Автор», 2026

Предательство самых близких людей, нанесло мне такую большую рану. Я была так зла. Произнесла необдуманные слова. Когда они начали сбываться, мне совсем не понравилась новая реальность моей жизни. Как ее упорядочить и подмять под себя? Вот главный вопрос, с которым стоит разобраться. Судьба подкидывает разные испытания и приключения. Тем самым затрудняя процесс адаптации в новых реалиях «В каком на хрен космосе?! Как я могу быть в космосе?! Я что космонавт?!» Стаю хлопаю глазами, пытаюсь подобрать цензурные слова- Что последнее вы помните виа Валерина? – он первым нарушает молчание Ага нашел дуру!- Если честно пока в голове полная сумятица. Расскажите последние события? – выкрутилась, как смогла- Во время путешествия на вас напали пираты. – ага, судя по всему тоже космические. – Мы возвращались с задания и по счастливой случайности были ближе всех. И поспешили к вам на выручку. Когда поймали сигнал бедствия. – во складно чешет. Сейчас бы попкорн и можно как радио пьесу слушать

© Вебр А., 2026

© Автор, 2026

Притяжение больше чем любовь

Пролог

Не зря говорят: бойтесь желаний своих. Я как никто могу подтвердить это высказывание. Хотя... если подумать, то я бы сказала: следите за словами, которые вылетают из ваших уст. Сто раз подумай, прежде чем сказать. Вот это будет гораздо ближе к моей ситуации. Но в пылу ссоры и зашкаливающих эмоций трудно подбирать слова — они вылетают сами, как искры из костра, в который плеснули масла: яркие, жгучие, и не догнать, не вернуть. Я была так зла, что в груди горело, как будто кто-то насыпал туда раскалённых углей и запретил дышать. Предательство самых близких людей нанесло мне огромную рану на сердце — не ровную, хирургическую, а рваную, с ржавыми краями, которая ноет в непогоду и не заживает, сколько ни жди. Душа болела и разлеталась на осколки, как и многолетнее семейное счастье — тихое, привычное, такое, каким оно кажется только до первой трещины, а потом оказывается, что трещина была всегда, просто её заклеивали улыбками и общими ужинами. Желая уколоть мужа побольнее, чтобы он ощутил хоть сотую долю той боли, что рвала меня на части, я метала слова, как ножи, не целясь, не думая, не считая — лишь бы попало, лишь бы зацепило, лишь бы он хоть на мгновение почувствовал то же, что чувствовала я. И тогда, в этом смерче из злости и обиды, прозвучали эти судьбоносные слова.

«Ты тоже не предел мечтаний. Ты старый лысеющий толстопуз! Я, может, тоже не горю желанием лечь с тобой в одну постель! Я тоже хочу спать с молодым, красивым и накаченным парнем! А может, и не с одним!»

Да, я была чертовски зла. Но это не являлось моим желанием — это было оружие, выбранное наспех, первое, что попало под руку, как кухонный нож, который хватают не для того, чтобы убить, а для того, чтобы напугать. Но всё равно исполнилось. Каждое слово, каждая буква — всё материализовалось, будто кто-то наверху решил подшутить, взял меня за слово и средантичной точностью воплотил сказанное в жизнь.

И вот. Сажу на белоснежном диване — он такой мягкий, что кажется, будто тонешь в облаке, и это единственное приятное ощущение за последний час. Передо мной стоят пять молодых, красивых и спортивных мужчин, и каждый из них мог бы украсить обложку любого журнала из моего мира. Они готовы исполнить любые мои желания: от мелких капризов до больших хотелок. И что мне прикажете с ними делать? Как себя вести? Что говорить? Очень хочется сбегать, и как можно дальше — туда, где нет белоснежных диванов, нет этих пяти пар глаз, которые смотрят на меня с таким выражением, будто от моего следующего слова зависит, взойдёт ли солнце.

Но проблема в том, что мужчины теперь зависят от меня. Я не имею права бросить на произвол судьбы пять зависящих от меня судеб. И это не высокопарные слова, а горькая правда жизни. Их жизни. У таких самодостаточных мужчин — сильных, уверенных, привыкших принимать решения, — нет ни гроша за душой и нет права голоса. По закону планеты Виаран всё своё имущество они отдали мне: дома, земли, деньги, украшения — всё, что нажили, всё, чем владели, перешло ко мне, как вода перетекает из одного сосуда в другой, безвозвратно и тихо. Теперь только я решаю, как им жить и где. Это неправильный закон. Взрослые люди сами должны решать свою судьбу — я выросла с этим убеждением, впитала его с молоком матери, с запахом отцовского дома, с тишиной вечеров, когда папа сидел у камина и говорил: «Человек свободен, пока он сам выбирает свой путь». А мужчина так и вовсе должен быть главой семьи. Должен содержать свою семью, решать вопросы, быть защитой и опорой для женщины — каменной стеной, за которой можно укрыться, а не мягкой подушкой, на которую хочется опереться и тут же провалиться. Как можно опереться на человека, который сидит дома и готовит тебе завтраки? На этой планете всё так непривычно и неправильно, словно кто-то взял зна-

комый мир, перевернул его с ног на голову и сказал: «Вот, живи теперь так». Мужчины здесь кротки и покорны, женщины правят и решают, а границы между сильным и слабым размыты так, что не understand, где верх, а где низ.

Так, ладно, это всё лирика. Пора что-то делать или хотя бы сказать. Уж слишком долго я молчу и рассматриваю мужчин. Вижу, как они нервничают от затянувшегося молчания: кто-то переминается с ноги на ногу, кто-то сцепил руки за спиной так, что костяшки побелели, а кто-то смотрит в пол, словно нашёл там что-то невероятно интересное. Тут есть на что посмотреть, и я не буду этого скрывать: широкие плечи, точёные линии челюстей, глаза разного оттенка, но одинаково внимательные, настороженные, ждущие. Никогда не была падка на мужскую красоту, но осознание, что они мои, — не все и не целиком, но всё же, — всё равно повышает самооценку, как вино, которое бродит в крови, тёплое и сладковатое. Можно не просто смотреть и давиться слюной, но и трогать, и не только. Эх, где мои двадцать лет? Ах, да, совсем забыла. Здесь. Никак привыкнуть не могу: молодость, которая вернулась, как украденная вещь, которую нашла в чужом шкафу, — и радостно, и неловко, и не understand, что с ней делать. Опять отвлеклась. Смотрю, как напряжены мужчины и чувствуют неловкость под моим взглядом. Интересно, что они увидели на моём лице? Похоть? Страсть? Или что-то другое — растерянность, страх, отчаянное желание сбежать, которое я так старательно прячу за маской спокойствия?

Что сказать? Что? Ни одной здоровой мысли в голове. Всё, что вертится в мозгу, — это «бежать». Бежать. Бежать! БЕЖАТЬ! Прямо сейчас, без оглядки, без объяснений, через дверь, через окно, через портал — куда угодно, лишь бы подальше от этого дивана, от этих глаз, от этой новой реальности, которая навалилась, как лавина, и придавила к земле.

«Так возьми себя в руки, тряпка!» — кричу мысленно на себя, и этот внутренний голос звучит жёстко, отрезвляюще, как пощёчина.

Упираюсь взглядом в Рика — он стоит первым, прямой, как стрела, и в его глазах читается что-то похожее на спокойное ожидание, будто он уже давно понял, что я не так уверена, как пытаюсь казаться. Собираю мысли в кучу и выдаю на одном дыхании, быстро, чётко, чтобы не дать себе времени передумать:

— Знакомьтесь. Билтар, — указываю на высокого мужчину, стоящего с ними в одном ряду. Его лицо спокойное, почти бесстрастное, но в глазах мелькает что-то похожее на любопытство. — Мой третий муж. Это Вил и Марк, — указываю на двоих парней, которые на фоне остальных кажутся подростками: тонкие, жилистые, с тем нежным, неопределившимся выражением лица, которое бывает только у тех, кто ещё не успел устать от жизни. По сути, таковыми и являются, ну, почти. — Они будут заниматься домом. Выдели всем новоприбывшим комнаты и расскажи, как тут всё устроено. Всё остальное потом. Я очень устала и хочу отдохнуть, — произношу, и каждое слово даётся с усилием, как будто произношу их не голосом, а выдавливаю из себя, как пасту из тюбика. Про себя же думаю, что хочу остаться одна и как следует всё обдумать: разложить по полочкам, расставить по местам, понять, что делать дальше, когда нет ни плана, ни карты, ни хоть какого-то ориентира. Перевожу взгляд на Чара: он стоит чуть в стороне, и в его позе читается что-то, чего нет у остальных, — не покорность, а спокойная готовность, как у человека, который давно привык к тому, что от него требуют, и выполняет, не задавая лишних вопросов. — Проводи меня до комнаты.

Поднимаюсь с дивана и спешу к лестнице, чувствуя, как колени чуть подрагивают, и молюсь, чтобы никто этого не заметил. Парни тоже приходят в движение: они расходятся, переглядываются, и в их шагах слышится та же неуверенность, что и в моих. Выдыхаю. Меня не раскрыли в первые минуты, это уже радует, хотя радость выходит кривой, горькой, как укус незрелого плода. Пора подумать, как сохранить свою тайну на долгосрочной основе, потому что то, что сработало в первую минуту, может рассыпаться, как картонный домик, от первого же неосторожного вздоха.

Что за тайна и кто все эти мужчины? Чтобы ответить на этот и многие другие вопросы, придётся начать мой рассказ с самого начала. А именно с того самого злополучного скандала с мужем.

ГЛАВА 1

Меня зовут Соколова Валерия. Мне сорок пять лет. Живу самой обычной жизнью среднестатистического человека — такой, где дни похожи друг на друга, как страницы в календаре, которые переворачиваешь не глядя, и всё равно знаешь, что там: утренний кофе, дорога на работу, привычные лица, знакомые маршруты. У меня прекрасная семья. Муж Роман на пять лет старше меня, и сын Павел — ему двадцать пять, он блогер. Как по мне, так это не профессия. Но, как говорит мой сын, я отстала от жизни и ничего не понимаю в новых веяниях. Не пытаюсь указывать ему, как жить. Деньги он зарабатывает, и достаточно хорошие. Полностью обеспечивает себя и иногда помогает нам. Это его жизнь, и только ему решать, как жить. Единственное, чего жду с нетерпением, — так это внуков, но Паша не спешит обзаводиться семьёй. Говорит, ещё не нагулялся.

Действительно, время идёт, мир меняется. Когда-то в двадцать девушки считались старыми девами, а сейчас и в тридцать замуж не торопятся: карьеру строят, капиталы наживают. Мы в своё время жили в общежитиях, детей растили и были счастливы. Теперь всё по-другому. Грустно, когда понимаешь, что твои ориентиры больше не совпадают с теми, по которым живут другие, и ты не можешь объяснить, почему твоё счастье кажется им устаревшим.

Я же дипломированный фармацевт. С мужем познакомилась на практике. Рома — биолог. В некоторых случаях наши профессии пересекаются, и именно это когда-то и связало нас: общий язык, общие термины, общее понимание того, как устроен мир на молекулярном уровне. Так мы встретились в лаборатории по разработке противовирусных лекарств. Любовь была как в фильмах, с первого взгляда: тот самый момент, когда мир сужается до одной пары глаз, а все остальные звуки гаснут, как свет в комнате, когда щёлкают выключателем. Мы быстро поженились, и у нас появился сыночек. Роман строил карьеру, а я создавала уют в доме и занималась воспитанием Паши.

Когда решила вернуться к работе, то после столь долгого перерыва путь в лабораторию мне был закрыт. Пошла работать в обычную аптеку. В принципе, не жалею. В своё время помогала мужу с диссертациями и исследованиями, и это, в свою очередь, теперь помогает мне лучше разбираться в составах лекарств. Могу подобрать людям более подходящие препараты — эффективные и безопасные. Таким образом можно в разы уменьшить побочные действия или риск вызвать аллергию. Для меня это не просто работа, а способ быть полезной, способ тихо, без громких слов, помогать людям, которые заходят в аптеку с усталыми глазами и надеждой на то, что сегодня станет хоть чуточку легче.

Половина прожитой жизни была наполнена счастьем и приятными хлопотами. Так что жалеть мне не о чем. Всё, чего не сделала и не добилась, наверное, к лучшему. Ведь у меня есть любящая семья, прекрасный сын, в котором я души не чаю. При всей его весёлости и лёгкости, даже, наверное, каком-то бесшабашном отношении к жизни, он вырос чутким и отзывчивым мальчиком. Всегда интересуется нашим здоровьем, делами и жизнью в целом. Готов помочь в любой ситуации и в любое время. Мы, конечно, не дёргаем его по мелочам, но знать, что он всегда придёт на помощь, приятно. Значит, мы при воспитании всё сделали правильно.

В общем, жизнь удалась! Так я думала ровно до сегодняшнего дня.

У меня сильно разболелась голова — не обычная головная боль, а такая, которая захватывает всё тело, словно кто-то туго стягивает виски невидимой лентой, и с каждым вдохом она затягивается ещё на пол-оборота. Вся ирония жизни состоит в том, как стечение обстоятельств или сама судьба приводит тебя в ту точку, где ты вообще не хотел оказаться в данный момент.

Работая в аптеке, где полно различных лекарств, я не смогла себе помочь. Обезболивающие не помогали — казалось, даже наоборот, усиливали эту давящую пытку, будто каждая таблетка добавляла ещё один виток к той невидимой ленте. Пришлось отпроситься домой.

Аптека располагалась через два дома от моего места проживания. Шла от силы минут пять, но за это время боль утихла — не исчезла, а просто отступила, как волна, откатывающаяся от берега, чтобы собраться с силами для нового удара. Стоя перед дверью квартиры, размышляла, не вернуться ли на работу. Будучи закоренелым трудоголиком, не люблю прогуливать работу без веской на то причины. С одной стороны, такая причина была. С другой — она уже не актуальна. Помывшись у порога, всё же решила остаться дома. В кои-то веки приду домой раньше мужа. Приготовлю вкусный ужин.

Квартира встретила тишиной и родным запахом — тем самым, который невозможно спутать ни с чем: смесь аромата свежего хлеба, лёгкого оттенка лаванды от кондиционера для белья и едва уловимого запаха дерева от старого комода, который Рома когда-то отреставрировал своими руками. Этот запах был для меня как якорь, как обещание, что здесь всё хорошо, всё на своих местах, и никакие бури не смогут этого изменить.

Переоделась и занялась ужином. На кухне всё шло привычно: нож мягко скользил по доске, овощи падали ровными ломтиками, сковорода шипела, принимая в себя масло, а в воздухе постепенно разрастался тёплый, уютный аромат тушёного мяса с пряностями. Спустя два часа всё было готово. Стол накрыт, тарелки расставлены, салфетки сложены аккуратными треугольниками, а в центре — вазочка с полевыми цветами, которые я купила утром у бабушки у метро. С минуты на минуту должен вернуться любимый муж.

Только он так и не пришёл. Ни через пять минут, ни через десять. Спустя полчаса ужин остыл, и вместе с теплом из тарелок куда-то уходило и моё хорошее настроение, оседая где-то внизу, как осадок в стакане с недопитым чаем. Убрал со стола, ушла в спальню. Наверное, задержали на работе. Меня не предупредил, так как я прихожу на два часа позже него. Легла на кровать и не заметила, как задремала. Сон был неглубоким, тревожным, как будто я всё время балансировала на краю и боялась упасть.

Проснулась от щелчка дверного замка — резкого, металлического звука, который в тишине квартиры прозвучал почти как выстрел. Глянула на часы: проспала час. Рома появился за полчаса до окончания моей смены. И, судя по голосам, не один. Встала и направилась посмотреть, кого привёл в гости муж. На пороге спальни узнала во втором голосе Пашу. Обрадовалась и уже хотела выйти в коридор поприветствовать сына и мужа, когда от услышанного мои ноги так и приросли к порогу.

Сердце забилось чаще, как испуганная птица в клетке, а жар прилил к голове, словно кто-то резко накинул на меня тяжёлое шерстяное одеяло в жаркий день. Ноги стали ватными, и я вынуждена была облокотиться на дверной косяк, чтобы не потерять равновесие. Перед глазами плыло — то ли от стресса, то ли от слёз, которые уже стояли в глазах, готовые пролиться в любую секунду. Сердце рвалось от обжигающей боли, которую причиняли своим разговором самые любимые и близкие мне люди. Их голоса, такие родные, такие привычные, теперь звучали чуждо, как будто говорили не они, а кто-то, кто просто очень хорошо их имитировал.

— Я же говорил, что секс лучше всего снимает напряжение, стресс и позволяет чувствовать себя молодым и полным сил, — веселился сын. Его голос был лёгким, почти беззаботным, как у человека, который обсуждает погоду или новый фильм, а не ломает жизнь своей матери. — А секс без обязательств с молодой и красивой путаной, которая выполнит любое твоё желание без лишних уговоров, — это вообще высшее наслаждение. Ты ещё отнекивался и идти не хотел.

С ними есть кто-то ещё? Должно быть, друг Павла. Но голос мужа развеял все сомнения о присутствии третьих лиц.

— Ты прав, — отзывался так же весело Рома, и от этой весёлости мне становилось ещё холоднее, будто кто-то открыл окно в морозную ночь. — Уже и не помню, когда получал такое удовольствие и получал ли вообще. Только как-то перед Лерой неудобно.

— Да брось, — с лёгкостью отмахнулся Павел, словно говорил не о матери, а о посторонней женщине, о ком-то, чьё мнение не имеет никакого значения. — Это не измена. Измена — когда по любви или симпатии. А тут всего лишь механика, которая помогла разрядиться.

— Думаешь? — в Роме чувствовалась неуверенность, или не абсолютное согласие с сыном, но и не протест, не отказ.

— Знаю. За двадцать пять лет жизни с одним человеком всё приедается. Хочется молодого мяса, новых ощущений. Считаю даже полезным для поддержания семьи, хотя бы раз в год таким простым способом снимать напряжение и усталость серой, опостылевшей жизни. — Откуда в Паше столько цинизма? Как у меня мог вырасти такой ребёнок? Я же всю душу в него вложила. Всегда объясняла, что хорошо, а что плохо. Как в его сознании то, что я считала фундаментом, превратилось в пыль?

— Останешься? Скоро мама придёт, — слышится шуршание верхней одежды.

— Нет. У меня ещё дела есть, — дверной замок приходит в движение. Сын собрался уходить.

Собираю всю волю в кулак и выхожу к своим некогда таким любимым и родным людям, которые одним поступком перечеркнули всё, что было хорошего в моей жизни. Смотрю на мужчин и понимаю, что они в одночасье стали мне совершенно чужими людьми — как незнакомцы, которых я случайно встретила в лифте и забыла через минуту. Как быть дальше? Что делать? Я просто не понимаю. Наверное, мне понадобится время, чтобы собрать себя по кусочкам. Много-много времени.

— Я уже дома, — хотела сказать бодро, но услышала только сдавленно-убитый скрип вместо своего привычного голоса — такой звук бывает, когда открываешь старую дверь, которую давно не смазывали.

Оба повернулись как по команде и тут же изменились в лице. Паша соорудил виноватую рожицу — ту самую, которую делал в детстве, когда разбивал вазу или забывал вынести мусор. Рома же побледнел. В глазах мелькало осознание всего содеянного. Они поняли всё без слов. Поняли, что я всё слышала. И в этой тишине, которая повисла между нами, было больше, чем в любых оправданиях: в ней слышался хруст того самого фундамента, который я так старательно выстраивала годами.

ГЛАВА 2

— Как ты мог? — смотрю на сына, потом на мужа, и в груди всё сжимается так, будто кто-то с силой стискивает сердце ледяной рукой. — Как вы оба могли так поступить со мной? — К глазам снова подступают слёзы, а в горле встаёт ком, тяжёлый, колющий, не дающий дышать. — Как вы могли вонзить мне нож в спину? Я что, настолько отвратительная мать и жена? — Слёзы всё же хлынули бурным потоком по щекам — не смогла удержать обиду в себе, она прорвалась, как вода сквозь треснувшую плотину, сметая все попытки держаться.

— Лера... не делай из мухи слона. Ничего... ужасного не случилось, — Рома пытается подобрать слова оправданий, но, как по мне, у него плохо получается. Его голос звучит так, словно он уговаривает капризного ребёнка не плакать из-за сломанной игрушки, а не пытается залатать дыру, которую пробил в самой основе нашей жизни.

— Из мухи слона?! Из мухи СЛОНА?! — перехожу почти на крик, и звук собственного голоса пугает меня саму — он резкий, надтреснутый, будто стекло, готовое разлететься на осколки. — Ты мне изменил! Это, по-твоему, мелочь? Тебя сын за ручку привёл к проститутке!!! Это пустяк?! — Смотрю на сына, и во взгляде моём столько боли, что, кажется, она

должна его обжечь. — За что ты так со мной? Ладно, этот, — махнула в сторону мужа рукой, и движение вышло резким, почти судорожным. — Но ты-то должен меня любить и понимать, что мне будет больно. — Прижимаю руку к груди, пытаюсь успокоить громко колотящееся сердце, но оно не слушается, бьётся, как пойманная птица, отчаянно и безнадежно.

Павел опустил глаза в пол и тихо проговорил, забивая последний гвоздь в крышку гроба моей безоблачной жизни:

— Ты не должна была об этом узнать, — совсем тихо и неуверительно звучала его речь, как шёпот в грозу — его просто не слышно за раскатами грома.

— Не должна узнать? — у меня начался истерический смех сквозь слёзы — смех, который царапает горло и отдаётся болью в висках. — Всего-то?! Если я не знаю, значит, ничего не было? Так?! Но вы-то об этом знаете! Как вы собирались мне в глаза смотреть, зная, что предали меня? Смогли бы вести себя как ни в чём не бывало?! Да? Совсем совесть не мучает? — Перехожу на шёпот, потому что кричать уже нет сил — голос сел, превратился в хриплый, надломленный звук.

Сын молчал. А вот муж, кажется, собрался с мыслями и решил всё исправить. Извинениями тут уже ничего не исправить — они как пластырь на открытую рану: вроде что-то прикрыли, но боль никуда не делась.

— Давай успокоимся и спокойно поговорим. В этом нет ничего такого. Большинство мужиков годами изменяют своим жёнам. А я всего один раз, за деньги, с той, кого тут же забыл. Это просто для снятия напряжения, — говорит он, и каждое слово ложится на душу, как капля горячего воска на открытую кожу — сначала просто тепло, а потом обжигает.

— А меня тебе мало?! — задаю такой глупый вопрос. Смешно звучит, даже для самой себя, как будто я стою на краю обрыва и спрашиваю, не слишком ли высоко.

— Нет, не мало. Просто это совсем другое, — закатил глаза, и этот жест сказал о многом — о скуке, о раздражении, о том, что мои чувства для него сейчас — досадная помеха, как муха, которая жужжит над ухом.

— Какое? — даже не знаю, что хочу услышать. Что ему не понравилось? Хотела бы, но вряд ли.

— Нууу... словно глоток свежего воздуха после сырого подвала, — мечтательно протянул Роман, и от этого сравнения меня накрыло волной такой ярости, что потемнело в глазах.

Сын сжался в углу. В отличие от мужа, он понял, к чему приведёт это сравнение. А меня обуяла такая злость, даже ярость — она поднялась откуда-то из глубины, из самого дна души, где копилась годами обида, разочарование, усталость. Схватила первое, что попало под руку, и швырнула в мужа. Это оказалась ваза — старая, с трещинкой, которую я когда-то склеила, думая, что она ещё послужит. Она ударилась об стенку и разлетелась осколками по прихожей, как и моё самообладание, как и все мои надежды на то, что этот вечер закончится иначе.

Подлетела к мужу и залепила звонкую пощёчину.

— Я сырой подвал?! ПОДВАЛ?! — орала в лицо безумным голосом, и эхо моего крика ещё долго звенело в ушах.

— Это просто сравнение. Согласись, что тебе уже не двадцать. И фигура не идеальна...

— Лучше молчи!!! — вцепилась ещё одну оплеуху, и рука горела, будто я коснулась чего-то раскалённого. — Да, мне не двадцать, но и тебе тоже! Да, у меня фигура уже не та, но и ты не пример Аполлона! Если уж совсем на чистоту. Секс у нас раз в пару месяцев. Я получаю от него удовольствие и того реже. Где-то раз через пять. А почему? Потому что ты не можешь уже долго, и я просто не успеваю. У тебя встаёт раз через раз, и приходится ждать месяцами. После сегодняшнего похода ты когда вернёшься в строй? Месяца через два? А сколько уже прошло с прошлого раза? Полтора. Полтора месяца! — орала, срывая голос от обиды, и слова вылетали, как пули, безжалостные и точные. — Я же не бегу искать секс на стороне. Хотя я могу чаще, чем ты. Так что ты тоже не предел мечтаний. Ты старый лысеющий толстопуз! Я,

может, тоже не горю желанием ложиться с тобой в одну постель! Я тоже хочу спать с молодым, красивым и накачанным парнем! А может, и не с одним! Как вы сказали? Хочу свежего мяса! Пусть моя фигура и не идеальна, но у меня нет такого пуза, как у тебя! — Разворачиваюсь к сыну. — Может, и мне найдёшь кого-нибудь? Ммм? А что? Я тоже хочу глоток свежего воздуха после старой помойки! — выплевываю с раздражением, и эти слова звучат как проклятие, как заклинание, которое я сама на себя наложила.

Выдохлась. Повисла такая звенящая тишина, что было слышно, как тикают часы в коридоре — этот тихий, равнодушный звук, который отсчитывает секунды нашей разрушенной жизни. Павел молчит и ошарашенно смотрит на меня, будто видит впервые. Роман... у него столько эмоций на лице: тут и обида от услышанного, и злость, скорее всего, от того же, и капелька вины. Обиды всё же больше. А что он думал? Что до сих пор выглядит, как в двадцать пять? И постарела только я?

Не дождавшись ответа, ухожу в комнату. Быстро одеваюсь, скидываю в сумку паспорт и свои накопления на чёрный день. «Вот он наступил!» — зло усмехаюсь про себя, и эта усмешка выходит горькой, как полынь.

Выхожу в прихожую. Павел и Роман так и продолжают стоять как истуканы, только глазами общаются — в этих взглядах столько невысказанного, что воздух становится тяжёлым, почти непрозрачным. Усмехнулась про себя и стала одеваться, чувствуя, как пальцы дрожат, застёгивая пуговицы.

— Ты куда? — подал голос муж.

— Искать молодого и красивого, — отвечаю, вкладывая в слова язвительных ноток, и они звучат как осколки разбитого стекла — острые, режущие.

С вызовом закидываю сумку на плечо и покидаю уже бывшую квартиру и уже бывшего мужа. Только с сыном не определилась. Не знаю, смогу ли простить когда-нибудь. Но общаться буду. Всё же сын. Только не так быстро. Мне понадобится время... много времени. Такое быстро не забывается.

Бесцельно брожу по улицам, и холодный ветер, пробирающийся под куртку, кажется единственным честным ощущением в этом лживом мире. Оплакиваю свою разбитую жизнь. В сорок пять начинать с нуля ой как непросто. Но я сильная. Я справлюсь. Должна справиться. Просто обязана. Для начала надо подумать, где ночевать. Потом найти съёмное жильё. Работа есть, деньги тоже, остальное со временем сложится. Пытаюсь строить планы на будущее, чтобы не скатиться в истерику, но мысли снова и снова возвращаются к случившемуся, как вода возвращается к своему руслу, размывая берега.

Кто бы мне сказал, что сын может отцу купить проститутку, никогда бы не поверила. Дети остро реагируют на измены родителей. Неважно, отца или матери. Сколько случаев было. Дети всегда отворачиваются от того родителя, который рушит семью. А тут? Даже способствует. Как же так получилось? Это поколение такое? Или я сделала что-то не так? Может, о семейных ценностях не всё объяснила? Или он не всё понял? Где пошло всё наперекосяк? Обычно люди совершают ошибки и учатся на них. Как один мог уговорить сделать ошибку другого? Да ещё и человека, который прожил половину жизни, должен был стать мудрее. Я не понимаю. Это просто сюрреализм какой-то. Я, наверное, настолько отстала от жизни, что...

— А кто это у нас тут гуляет? — меня выдергивает из размышлений наглый голос. — Одна, поздно вечером, непорядячок. — Ну мерзкий голос, прям фу, царапает слух, как гвоздь по стеклу.

Хотела послать далеко и надолго. Набрала полную грудь воздуха и развернулась, чтобы разобраться. Воздух вышел сам собой, будто из проколотого шарика. Передо мной стояли пять парней возрастом моего сына. Только выглядели совершенно по-другому. Двое были под два метра ростом и явно имели бойцовский опыт за плечами — их позы, взгляды, даже то, как они стояли, говорило о привычке к драке. Трое разного роста, но достаточно жилистые, с напря-

жёнными мышцами, готовыми к рывку. Все были в спортивных костюмах и напоминали гопников — тех самых, о которых предупреждают в новостях и советуют обходить стороной. Один из жилистых стоял чуть впереди и держал в руках нож. Судя по всему, он и говорил. А самое страшное — это глаза. У всех пятерых они блестели каким-то злым азартом, как у хищников, которые загнали добычу и теперь наслаждаются моментом перед прыжком. От такого зрелища страх пробежал по позвоночнику, поднимая все волоски на теле и вызывая липкий пот, который стекал по спине, холодный и противный.

За секунду поняла, что разговаривать бесполезно. Но всё же предприняла попытку раздумить.

— Мальчики, я же в матери вам гожусь. Неужели нападёте на одинокую женщину? — Руки дрожали от страха, и этот предательский тремор выдавал меня, как бы я ни старалась казаться спокойной.

— Со спины девушка, а спереди бабка, — ехидно протянул парень с ножом, и все заржали. Мерзкий хохот ударил по нервам, как удар хлыста, и на мгновение я перестала дышать. — Ладно, мамаша, так уж и быть. Я сегодня добрый, — заговорил парень, обрывая смех. — Давай кошелек и вали на все четыре стороны. Трогать не будем, — проявил милосердие, как ему казалось, и в этих словах было столько снисходительности, что меня затопило.

Я машинально прижала сумку к себе. Отдать деньги — значит остаться на улице. Не буду же я жить в аптеке до следующей зарплаты. Надо бежать. Все мысли пролетели за доли секунды, как кадры в ускоренной съёмке. Я резко развернулась и побежала что есть силы в сторону улицы. Думала, попаду на освещённую и более людную территорию, и они отстанут. Бежать пришлось долго. Не думала, что так глубоко забрела в жилой сектор, где дворы сплетались в лабиринт, а фонари горели тускло, будто боялись привлечь внимание. Топот ног за спиной подсказывал, что меня продолжают преследовать, и, судя по всему, скоро догонят. Ускорила из последних сил, чувствуя, как лёгкие горят, а в боку колет так, что хочется согнуться, но нельзя — остановка означала бы поражение. Впереди показался свет фонарей, яркий, манящий, как маяк в шторм. Вылетаю из-за дома и вижу дорогу. Надо её пересечь. Уговариваю себя, повторяя как мантру: «Перебежать дорогу. Надо перебежать дорогу». Верила, что, попав на противоположную сторону, буду в безопасности, как будто граница между тротуарами могла защитить меня от всего мира.

Я почти у цели. Делаю несколько шагов на проезжую часть, слышу визг тормозов — резкий, пронзительный звук, который врежется в сознание, как лезвие. Поворачиваюсь на звук, думая, что спасена от преследователей. Но вижу только яркий свет фар, быстро приближающихся ко мне, слепящий, безжалостный. Чувствую сильный удар, пару секунд свободного полёта, удар об асфальт, дикую боль во всём теле, особенно сильную в голове — она взрывается миллионами осколков, и каждый из них режет изнутри. Раздаются голоса, вокруг начинают суетиться люди. Кто-то прикасается к шее. Наверное, прощупывают пульс.

— Вызывайте скорую, она ещё жива, — слышу мужской взволнованный голос, и он звучит как далёкий, искажённый эхом звук, будто доносится из другого мира.

Сама радуюсь, как дурочка, что смогла спасти деньги. Глупая. Неизвестно, смогу ли выжить? Насколько серьёзны повреждения? Как долго, а главное, возможно ли полное выздоровление? Сколько на это понадобится времени и средств? А я переживаю за те крохи, которые удалось скопить.

Судя по звуку, приехала скорая помощь. Меня стали щупать и понесли в машину скорой помощи. Чувствую, как боль всё нарастает, превращаясь в сплошной, непрерывный гул, который заполняет каждую клетку тела. В голове начинает гудеть и пульсировать, как будто внутри бьётся огромное сердце, чужое и враждебное. На грудь, словно бетонную плиту положили. Дышать всё труднее. Сознание путается, мысли становятся вязкими, как густой сироп. Хочется встать или хотя бы плиту с груди убрать. Пытаюсь сказать, что мне нечем дышать, но

не получается. Сил нет. Губы не слушаются, они будто чужие, непослушные. Чувствую себя беспомощной, как ребёнок, который не может объяснить, где болит. Хочется пить и на воздух. Даже не знаю, чего хочу больше — сделать хоть один глоток воды или полный вдох.

Отчётливо понимаю, что доживаю свои последние минуты жизни. Закат жизни оказался печальным. Не в кругу семьи, а потерянная, разбитая, в кругу посторонних людей. Мои, поди, и не в курсе происходящего. В лучшем случае узнают через пару часов от врача больницы или морга, смотря, куда меня доставят.

Говорят, перед смертью у людей проносится вся жизнь перед глазами. В моём воспалённом мозгу пролетела только одна мысль: «Не надо искать, где переночевать». Это было бы даже смешно, если бы не было так грустно. Какая ночёвка? Здесь речь идёт о жизни в целом. Наверное, я так пытаюсь справиться со стрессом — цепляться за мелочи, когда рушится всё.

И проваливаюсь в темноту, даже не пытаюсь цепляться за крупницы сознания. Зачем? Во-первых, очень больно. Во-вторых, не вижу причин продлевать агонию. Жить, может, и хочется, ещё многого не успела сделать, но душа болит и кровоточит не хуже израненного тела. А так... может, в следующей жизни мне повезёт больше, и я смогу быть счастливой до последней секунды. Надеюсь на это и всецело веряю свою жизнь и судьбу богам. Да. Я готова уйти.

ГЛАВА 3

Медленно выплываю из небытия, как водолаз со дна глубоководного океана: толща темноты давит, но где-то наверху брезжит слабый свет, и тело само тянется к нему, не спрашивая разрешения. Так же медленно возвращается сознание — не вспышкой, не рывком, а по капле, как вода, собирающаяся на дне прохудившейся трубы: сначала одна мысль, потом вторая, потом третья, и каждая из них тяжёлая, неповоротливая, будто обмотанная ватой. Лежу, боюсь пошевелиться. Вдруг я парализована? А так, пока не двигаешься, и не знаешь, и на душе спокойнее. Глаза тоже не открываю. Страшно. Вдруг всё-таки умерла. Попала в рай или ад или ещё куда. Никто же не знает, что там по ту сторону смерти. И опять же в неизвестности спокойнее, как ребёнку под одеялом: пока не выглянул, монстров нет. И вот лежу как дура, жду, когда всё само собой рассосётся. Ничего, естественно, не меняется. Прислушалась. Тишина прям гробовая, плотная, как вата, заложенная в уши, — ни шороха, ни вдоха, ни единого звука. Аж жутко становится. В больнице всегда есть звуки: в палате разговоры, храп или сопение; в реанимации писк датчиков аппаратов жизнеобеспечения, мерный, как сердцебиение, от которого зависишь. Да даже в морге слышен гул холодильников, низкий и ровный, как далёкий гул мотора. Может, меня похоронили? Сразу накатывает ужас — волной, которая поднимается откуда-то из живота и заливают всё тело холодом, будто в кровь разом влили ледяной воды. Хотя нет. Вскрытие должны были сделать. Тогда бы я уж точно не очнулась. Немного успокаиваюсь, но лишь немного.

Тогда где я?

Пересиливаю себя и открываю глаза. Вижу серый потолок через стекло. Стекло? Вожу глазами, и сердце ускоряет бег, загоняя себя в такой темп, будто хочет вырваться из груди и убежать без меня. Меня закрыли в хрустальном гробу?! С перепугу рефлексивно дергаюсь в попытке сесть, ударяюсь лбом об стекло и падаю обратно. Потираю многострадальный лоб, чувствуя, как под пальцами бьётся пульс, быстрый и тревожный. Удар пошёл на пользу. Мозги заработали в нужном направлении. Раз я в помещении, то рано или поздно кто-то придёт. Лучше, конечно, рано. И тело шевелится. Ничего не болит. Прислушалась к себе. Вообще ничего не болит! Хотя такого давно не было. Всегда где-то что-то, да подавливало или ныло: то спина после долгой смены, то колени в непогоду, то виски после бессонной ночи. С возрастом всегда что-то беспокоит, как фоновый шум, к которому привыкаешь и перестаёшь замечать, пока он не исчезнет. А тут, как новорожденная. Это сколько же я пробыла без сознания, что

успела полностью оправиться после аварии? Не успела впасть в уныние и пострадать о том, что сильно постарела, как над моим гробиком склонился симпатичный молодой доктор. Надеюсь, доктор, раз в белом халате. А нет, рубашке и брюках, но не суть. Посмотрел на меня и стал водить рукой по боку гробика — жест спокойный, уверенный, как у человека, который делает это не впервые и точно знает, что делает. Молча жду. Хочется верить, что меня освободят.

Вот крышка начинает отъезжать в сторону с тихим, почти бесшумным скольжением, и в лицо ударяет поток прохладного, незнакомого воздуха, который пахнет не больницей, не хлоркой, не лекарствами, а чем-то другим, чему я не могу подобрать названия. Выдыхаю с облегчением. Не похоронили, живая, здоровая, всё остальное переживу. Доктор протягивает мне руку. Берусь за неё, чтобы подняться, и зависаю взглядом на гладкой молодой коже моей руки. Моей руки! Кожа была ровной, упругой, без единой морщинки, без той тонкой сетки, которая в последние годы проступала всё заметнее, как трещины на старой штукатурке. Это как? Вылезаю из гроба, гася в себе желание бежать к зеркалу, и руки дрожат, но не от слабости, а от страха перед тем, что могу там увидеть.

— Как вы себя чувствуете, виа Валерина? — странно обращается ко мне врач, и это «виа» звучит непривычно, как *foreign word*, которое не ложится на слух, как камешек в ботинке.

— Спасибо, прекрасно, — вместо своего голоса слышу мелодичный молодой голосок, и он звучит так, будто кто-то другой говорит моими губами, кто-то, кто не знает, как сорока-пятiletняя женщина привычно хрипит по утрам. — Как я могу к вам обращаться? — Пытаюсь быть вежливой, а в голове происходит мозговой штурм: куча разных мыслей и вопросов таранят и без того многострадальный мозг, сталкиваясь, разлетаясь, собираясь снова, как шары на бильярдном столе.

— О, простите, виа Валерина, я Кеннет, — кивнула, давая понять, что услышала, и кивок вышел слишком резким, будто голова стала легче и не поспевает за привычкой.

— Могу я узнать, где мы находимся? — решила зайти издалека, и голос звучит ровно, почти спокойно, хотя внутри всё гудит, как натянутая струна.

Судя по имени, я за границей. Интересно, кто оплачивал моё лечение? Это же, наверное, безумно дорого. Заговорила практичная часть меня, и эта часть единственная, что не дрожит.

— Мы на военном корабле. Вам, виа Валерина, чудом удалось спасти. Я занимался вашим лечением, — коротко и по существу излагает он. Сразу видно военная выучка: ни лишнего слова, ни паузы, ни ужимки.

— Мы в море?! — доходит до меня смысл слова «корабль», и в горле пересыхает.

— Почему в море? В космосе. Мы на космическом военном корабле, — стоит, улыбается. Ему вот вообще не до смеха.

«В каком на хрен космосе?! Как я могу быть в космосе?! Я что, космонавт?!»

Стою, хлопаю глазами, пытаюсь подобрать цензурные слова, но они застряли где-то между мозгом и языком, как пробка в горлышке.

— Что последнее вы помните, виа Валерина? — он первым нарушает молчание.

Ага, нашёл дуру! Так я всё и рассказала. Надо ещё разобраться, как я в космосе оказалась.

— Если честно, пока в голове полная сумятица. Расскажите последние события? — выкрутилась, как смогла, и улыбка вышла кривой, натянутой, как дешёвая улыбка на фотографии из фотобудки.

— Во время путешествия на вас напали пираты, — ага, судя по всему, тоже космические. Смешно. — Мы возвращались с задания и по счастливой случайности были ближе всех. И поспешили к вам на выручку, когда поймали сигнал бедствия, — во складно чешет. Сейчас бы попкорн, и можно как радиопьесу слушать. — Кроме вас выживших нет. Ваш муж погиб...

— Муж! — встрепенулась было я, но потом вспомнила о его предательстве, и это слово, которое раньше ассоциировалось с теплом, безопасностью, домом, теперь прозвучало как название болезни. Да и история сказочная. Тут же сникаю.

— Я сожалею вашей утрате, — по-своему распенил мою кислую физиономию Кеннет, и в его голосе слышится та вежливая, дежурная скорбь, которую учат на курсах.

— Я тоже, — не нашлась, что ещё сказать. Снова повисло молчание, и в нём было столько неловкости, что хотелось заполнить его хоть чем-нибудь.

Похоже, я в дурке, а не в космосе. Подвела итог его рассказа.

Со мной определённо что-то случилось. Я далеко не спортсмен. Значит, те гопники меня всё же догнали. На фоне стресса и сильного страха мозг пытался меня защитить. Тем самым придумав аварию. Парни, скорее всего, забрали сумку, а за неповиновение избили. Может, даже ранили. От этого я и ощущала боль. Меня подлечили. Синяки проходят быстро. Ножевые ранения заживают около месяца. А вот психика дело другое. Тут у каждого по-разному. Муж с сыном, чувствуя вину, определили меня в самую лучшую клинику для душевнобольных. Этот гробик, скорее всего, камера для особо буйных пациентов. Кеннет... такой же пациент, как я. У нас даже одежда похожа. Моя пижама кремовая, а его белая. Он подглядел, как открывать эту штуку, и, увидев, что я в сознании, выпустил. Мои мозги встали на место, а вот у мужчины ещё нет. Вроде всё логично? Логично. Это больше похоже на правду, чем та чушь, которую он нес.

Надо поговорить с главврачом. Сказать, что пришла в себя и попросить выписку. Негоже тратить деньги предателей больше, чем нужно, ещё и за границей, судя по оборудованию. Мужчину травмировать не будем. С психами лучше соглашаться. Это я ещё с учебы помню. По психологии проходили.

— Могу я поговорить с главным этой... этого корабля? — закинула удочку.

— К сожалению, командир корабля занят. Как освободится, я передам вашу просьбу о встрече. А пока могу проводить вас в вашу каюту.

— Хорошо. — Ну что ж, придётся подыграть. Подожду немного и осмотрюсь.

Дверь при нашем приближении отъехала автоматически, с тихим, почти бесшумным шелестом, и мы оказались в длинном коридоре. Серые стены из металлических панелей удивили — от пола до потолка ровные, холодные, с едва заметными стыками, которые расходились так идеально, что хотелось провести по ним пальцем и проверить, не нарисованы ли они. Как по мне, так неразумно в больнице для душевнобольных иметь такие стены. Я всегда представляла мягкое покрытие для большей безопасности больных. Но здравый смысл я оставила в той, прежней жизни, которая, кажется, была давно и неправда.

Шли мы недолго. Пройдя всего пару дверей, остановились. Кеннет приложил металлическую пластину к панели у двери, и та загорелась зелёным, тихим, ровным светом, как маленький спокойный глаз. Дверное полотно отъехало, мы вошли в просторное помещение. С правой стороны стояла кровать или висела, или, скорее всего, крепилась к стене, — узкая, жёсткая, застеленная серым бельём, но чистым и аккуратным. У противоположной стены стоял небольшой металлический шкаф, стол с двумя стульями, чем-то средними между стулом и креслом: они выглядели так, будто их проектировал человек, который знал о комфорте только понаслышке. Всё в серых тонах. Навевает уныние, как пасмурный день, который тянется и тянется, не желая заканчиваться. На левой стене видна дверь. Скорее всего, в ванную комнату. Чудненько, подумала с грустью, и эта грусть была такой знакомой, привычной, что от неё стало почти уютно.

— На военном корабле не предусмотрены каюты для женщин, — виновато произнёс Кеннет, и в его голосе слышалось что-то похожее на искреннее смущение, будто он лично отвечал за архитектуру всего корабля. — Это лучшее, что мы можем предложить. — Боюсь представить, как выглядит худшее. — Терпеть придётся недолго. Уже через три дня мы прибудем на Виаран. Возьмите ваш браслет, виа Валерина.

Протягивает мне ту пластину, что прикладывал к двери. Взяла, покрутила в руке. Как-то мало эта пластинка похожа на браслет. Подняла глаза на Кеннета. Он пристально следил за мной, и в его взгляде читалось что-то, чего я не могла разобрать: не любопытство, не тревога,

а скорее ожидание, как у человека, который знает секрет, но не уверен, что вы готовы его услышать. Не хотелось расстраивать мужчину. Зачем мне лишние драмы.

— Благодарю, — произнесла с улыбкой, прикладывая пластину к запястью. Делая вид, что надеваю, отвернувшись, хотела быстро спрятать, и пальцы уже сжались, готовые убрать эту штуку подальше.

При соприкосновении с кожей металл удлинился и плотно обвил моё запястье, став полностью литым браслетом без замков и выемок, — живым, тёплым, будто он был не куском металла, а чем-то, что знало форму моей руки и подстроилось под неё. Моя челюсть встретилась с полом. Как? Кеннет на меня плохо влияет. Надо остаться одной и всё хорошо обдумать, сесть, закрыть глаза и разложить всё по полочкам, как препараты в аптеке: это сюда, это туда, а вот это вообще выкинуть. Уже хотела попросить мужчину оставить меня одну, как он поспешил удалиться сам. Бросил на прощание, что будет в медицинском блоке, если мне что-то понадобится. Мысли, что ли, читает? Промелькнуло в голове, но я тут же отмахнулась, как от назойливой мухи, которая никак не хотела улетать.

ГЛАВА 4

Оставшись одна, улеглась на кровать и уставилась в потолок. Серый, ровный, без единой трещины или пятна — такой идеальный, что от него веяло чем-то нечеловеческим, будто его не штукатурили и не красили, а вырастили из цельного куска металла. Что мы имеем? Жива, здорова, нахожусь в психлечебнице. Но верю, что после обследования меня выпишут. Странный браслет? Может, я всё же за границей? Вся обстановка об этом говорит. И там появились новые технологии. Вон в аквапарке резиновым браслетом открывают и закрывают шкафчики. Подумаешь, железка в браслет превратилась. Нашли хитрые технологии и для этого. Выстраивала логичные оправдания всему странному, и каждое оправдание ложилось на сознание, как пластырь на рану: не лечит, но прикрывает, и вроде уже не так больно, не так страшно, не так безнадежно. Так легче воспринимать всё увиденное — цепляться за знакомое, как утопающий цепляется за обломки мачты, не проверяя, выдержат ли.

Когда надоело пялиться в потолок, стала блуждать взглядом по интерьеру, отмечая все новые и новые детали, как турист в незнакомом городе, который медленно поворачивает голову и не успевает удивляться, потому что за каждым углом ждёт что-то новое. Стены и большая часть мебели железные с пластиковыми вставками — холодные на вид, матовые, с едва уловимым металлическим блеском, который вспыхивал и гас, когда я двигала головой, словно поверхность отзывалась на каждый мой поворот. Как можно было построить больницу из металла? Это же не продуктовый павильон. Тут находятся люди, которые могут причинить себе вред и с меньшими возможностями — а тут каждый угол, каждая кромка, каждая поверхность словно провоцирует: ударься, порежься, ушибись. Логика психиатрической клиники явно была написана по другим правилам, и эти правила я не знала.

Потом взгляд зацепился за картину над столом. Интересная. Даже завораживающая. Никогда такого не видела — и это «никогда» прозвучало внутри не как фигура речи, а как факт, потому что глаза, привыкшие к чёрно-белым репродукциям в аптеке и к календарям с подсолнухами на кухне, вдруг увидели что-то, чему не могли подобрать сравнения. На ней изображён космос. Уж не Кеннета ли эта комната? Картина всё же потрясающая. На переднем плане две крупные планеты, и каждая выписана с такой тщательностью, что хотелось протянуть руку и потрогать их поверхность — так реалистично были переданы фактуры: у одной — клубящиеся облака и отблески океанов, у другой — плотные, многослойные кольца, которые казались почти осязаемыми. Одна отдалённо напоминала Землю: те же оттенки синего и зелёного, та же игра света и тени на полюсах, но что-то было не так — цвета чуть глубже, чуть гуще, будто кто-то взял Землю, пропустил её через сито чужого солнца и получил не копию, а вари-

ацию, как мелодия, сыгранная в другой тональности. Вторая похожа на Сатурн: массивная, с кольцами, которые опоясывали её, как тонкие обручи из замороженного света. Только я точно знаю, Сатурн и Земля не располагаются так близко друг к другу. Да и цвет планет отличается от привычного: та, что похожа на Сатурн, отливает сиреневым — не бледным, не болезненным, а густым, насыщенным, как сок чёрной сливы на белой тарелке. Вдалеке видна комета — длинная, вытянутая, с хвостом, который тянулся за ней, как шлейф невесты, сотканный из пыли и света. И пять крупных звёзд. Все разного цвета: голубая, зелёная, сиреневая, синяя и малиновая. Каждая горела по-своему: голубая — холодным, ровным светом, как лампа в операционной; зелёная — мягким, травяным, будто излучала не тепло, а запах; сиреневая пульсировала, как живое сердце; синяя — глубокая, почти чернильная, манила к себе, как омут; а малиновая горела так ярко, что казалось, от неё должно пахнуть спелыми ягодами. Кстати, «Сатурн» тоже сиреневый — и эта переключка планеты и звезды, этот негласный диалог двух оттенков одного цвета, создавал странное ощущение связи, будто они переглядывались через всю картину, как сообщники. А вокруг рассыпаны миллиарды маленьких звёзд — крошечных, едва различимых, но каждая живая, каждая мерцала своим ритмом, и от этого мерцания картина казалась не плоской, а бездонной, как окно, за которым начинается бесконечность. Чем дольше смотришь, тем больше завораживает — взгляд тонет в этой глубине, как камень в тёмной воде, и не хочет возвращаться на поверхность. Очень зрелищно и реалистично написана. Художник определённо невероятно талантлив — каждый мазок, каждый блик, каждый переход цвета выполнен с такой точностью и одновременно с такой лёгкостью, что трудно поверить в руку человека за этим: скорее, сама вселенная притронулась к холсту. Даже кажется, что картина медленно движется: облака на планете, похожей на Землю, чуть ползли в сторону, комета едва заметно дрейфовала, а звёзды мерцали не равномерно, а вразнобой, как живые существа, которые дышат. Решила подойти и посмотреть поближе, и ноги сами несли к столу, а сердце стучало не от страха, а от странного, почти детского восторга, который я давным-давно не испытывала — того самого, что бывает, когда видишь что-то по-настоящему прекрасное и забываешь обо всём на свете.



Какого...?! Этого не может быть! Как такое возможно?!

Я в космосе! Я правда в космосе!!! Это вовсе не картина, а иллюминатор! Огромный, панорамный, занимающий почти всю стену, словно окно в бесконечность, которую никто не просил распаивать. Руки задрожали, а ноги стали ватными, и я вынуждена была опереться на край стола, чтобы не осесть на пол. За стеклом, отделённым от меня лишь тонкой прозрачной преградой, разворачивалось то, что человеку не положено видеть без скафандра, без ракеты, без всей этой грандиозной NASA-овской машины: чёрная, абсолютная, бездонная пустота, в которой плавали планеты, как светящиеся шары в новогодней витрине, только размером с целый мир, и каждая из них вращалась, жила, дышала, будто я подсмотрела за чем-то таким, чему миллиарды лет и что всё ещё умудряется поражать. Звёзды здесь были не точками, как с Земли, а крошечными, колючими солнцами, которые кололи глаза яркостью, нефiltroванной атмосферой, и от этого становилось ясно, почему космонавты плачут, когда смотрят в иллюминатор: не от красоты, а от осознания собственной ничтожности перед этим масштабом. Сиреневая планета, та самая, что похожа на Сатурн, висела так близко, что казалось, протяни руку — и коснёшься её колец, которые мерцали и переливались, словно миллионы кристаллов нанизаны на невидимую нить. А голубая звезда пульсировала ровным, гипнотическим светом, и от этого пульсации что-то внутри сжималось, потому что глаза видели, а мозг отказывался верить, и между ними образовалась такая пропасть, что в ней можно было утонуть.

Пребывая в шоке от увиденного, подношу руку к лицу. Вспоминаю, что она показалась мне молодой, начинаю разглядывать. Правда, кожа гладкая, бархатная, молодая и не моя — та кожа, которую я помню, была тонкой, с едва заметной сеточкой морщин у костяшек, с возрастной пигментацией на тыльной стороне, которая появилась после тридцати и с каждым годом становилась всё заметнее, как весенние проталины на снегу. А эта — плотная, упругая, с ровным, тёплым оттенком, как сливочное мороженое на солнце. И пальцы другие: тоньше, длиннее, с изящным изгибом, как у пианистки, и ногтевая пластина не плоская, как у меня, а чуть выгнутая, правильной формы, с розовым полумесяцем у кутикулы, который я никогда не видела у себя, сколько ни разглядывала. Начинаю тщательнее осматривать и ощупывать себя, и каждое прикосновение отзывается странностью, как будто надела чужую перчатку, только перчатка — это всё тело, и она сидит идеально, и снять её нельзя. Рост вроде такой же. Причёска и цвет волос почти совпадают, но волосы гуще, тяжелее, и падают на плечи так, будто каждый волосок знает своё место и не нуждается в расчёске. Нос меньше, изящнее, с тонкой переносицей и чуть вздёрнутым кончиком, как у героинь с обложек тех романов, которые я покупала в киоске и прятала в сумку, чтобы никто не видел. Губы пухлее, с чётким контуром, словно кто-то провёл по ним аккуратной линией, и они были такого ровного, тёплого розового оттенка, какого не даёт ни один бальзам. Ноги стройные, длинные, с выраженными икрами и тонкими лодыжками, которые я в своей прошлой жизни прятала под широкими брюками, потому что они давно перестали быть тонкими. Кожа упругая, плотная, и от прикосновения к ней по руке пробегает электрическая искорка, как от шерстяного свитера в сухой день. Живот плоский, подтянутый, без той мягкости, которая появилась после родов и осталась навсегда, как напоминание о том, что тело помнит то, что разум давно забыл. Грудь чуть больше и стоит, а не провисает, как у женщины, которая выкормила ребёнка и которой сорок пять, и от этого осознания внутри что-то переворачивается — не от радости, а от жути, потому что тело, в котором я нахожусь, не моё, и это не пластическая операция, не омолаживающая процедура, а что-то, чему я не могу подобрать названия. Складывается ощущение, что мне лет двадцать, и это «двадцать» звучит внутри как чужая, незнакомая мелодия, которую напеваешь, не зная слов. Ищу глазами зеркало. Не видно. Направилась к двери, где по моим предположениям должна быть ванная, и шаги выходят лёгкими, пружинистыми, без той тяжести в коленях, к которой я привыкла и которая стала фоном, как тиканье часов: не замечаешь, пока не замолчит.

За дверью действительно ванная комната. Вроде всё привычно на первый взгляд: душевая кабина, туалет, раковина. Но и здесь всё чуть иначе — материалы другие, формы дру-

гие, расположены не так, как я привыкла, и от этого странного, почти обманчивого сходства становится ещё тревожнее, как в доме, где мебель стоит на своих местах, но обои наклеены вверх ногами. Над раковиной висит зеркало — большое, прямоугольное, с матовой металлической рамой. Направляюсь к нему и застываю, глядя в отражение, и застываю так, будто кто-то выключил звук, заморозил время и оставил меня одну наедине с этой невозможной картиной. На меня смотрит совершенно незнакомая молодая девушка — красивая, яркая, с лицом, которое притягивает взгляд, как магнит, и от этого взгляда хочется отвернуться, потому что в этом лице нет ничего моего, ничего знакомого, ни одной черты, за которую можно было бы зацепиться и сказать: «Да, это я». Я даже зеркало потрогала, убедиться, что это не какой-нибудь телевизор или голографический экран, — пальцы стукнули по прохладной, гладкой поверхности, и отражение качнулось, подтверждая: обычное стекло, обычное зеркало, а в нём — необычная, чужая, чужая, чужая реальность. Волосы карамельно-шоколадного цвета — не моё, мои были каштановые, тусклее, проще, как осенние листья, которые уже отдали всё тепло солнцу. Бровки домиком, тонкие, изящно очерченные, и от их формы лицо выглядит открытым, чуть удивлённым, как у человека, который всегда готов задать вопрос. Всегда мечтала иметь такую форму бровей и каждый раз, стоя перед зеркалом в ванной, приподнимала их пальцами, пытаюсь представить, как бы я выглядела. Теперь вот — есть. Только радости от этого никакой. Большие лисьи глаза, карего цвета, с тёмной, почти чёрной окантовкой радужки, и от этого они кажутся ещё больше, ещё выразительнее, как два янтарных озера в обрамлении чёрных сосен. У меня были серые и не такие выразительные — будничные, спокойные, цвета зимнего неба, которое не обещает ни солнца, ни снега. Я была обычной, в меру симпатичной, из тех, кого называют «приятной внешностью» и проходят мимо. Тут же модель не меньше — из тех, чьи лица печатают на обложках, а проходящие на улице оглядываются вслед, не потому что узнали, а потому что невозможно не оглянуться. Теперь это новая я, и от этого «я» веет такой чуждостью, что хочется спрятаться, стать невидимой, провалиться сквозь пол, лишь бы не смотреть в эти глаза, которые смотрят на меня из зеркала, но не видят меня, потому что меня там нет.

Сразу вспоминаются книги про попаданок. Листала одну, весело, но слишком сказочно, как конфета, которую жуёшь с удовольствием, но знаешь, что внутри — пустота. Закрыла, так и не дочитав и до половины, потому что жизнь и так была занята реальными делами: аптека, дом, ужин, стирка, заботы, и некогда было читать про выдуманные миры, когда в настоящем хватало своих забот. Кто ж знал, что может пригодиться. Так, что там доктор вещал? Путешествовала... напали пираты... муж погиб. Печально, но в моём случае хорошо — сквозь пелену шока и вины пробивается тёмная, стыдная мысль, которую я тут же пытаюсь задавить, но она упрямо поднимается снова, как пузырьёк воздуха из глубины. Зачем мне чужой муж? Тот, который предал меня, который сравнил меня с сырым подвалом, который променял четверть века совместной жизни на один вечер с незнакомой женщиной. А как узнать всё остальное? Где живу? Где работаю? Кто я вообще, если не Соколова Валерия, сорок пять лет, фармацевт, мать и жена, бывшая жена, бывшая мать? Если рассуждать логически, раз путешествовала в космосе, то деньги есть. Или муж был богатый? Или они в космос летают, как мы на такси ездим? Ааа... как всё сложно, и от этой сложности голова начинает гудеть, как перегруженный процессор, который не справляется с потоком данных и готов зависнуть в любую секунду. Пойти с Кеннетом пообщаться? Может, узнаю что, и эта мысль — единственная за последние минуты, которая выглядит хоть сколько-то разумной, как луч фонарика в тёмной комнате. Хотя что-то, что можно сделать, а не стоять перед зеркалом и смотреть на чужое лицо, которое почему-то моргает одновременно со мной.



Почему сразу поверила во всё? Сама не знаю. Больше похоже, что и правда сошла с ума. Только мой мозг такого не придумает — не хватит ни фантазии, ни смелости, ни того безумного размаха, с каким эта новая реальность обрушилась на меня, как обвал в горах, который не предупреждает, а просто хоронит под собой всё, что казалось незыблемым. Я далека от всего этого. Я бы скорее нафантазировала себе жизнь без предательства мужа, без той боли, которая до сих пор ноет в груди, как старая рана в непогоду. И жила бы в счастливых грёзах — тихих, тёплых, уютных, как вечер на кухне с чашкой чая и хорошей книгой. А космос и чужое тело не для меня. Это не сон, это бред. Но бред, который пахнет металлом, который чувствует прикосновениями и отражает в зеркале чужое лицо. И оттого, что он такой осязаемый, такой безоговорочно настоящий, верить в него приходится не потому, что хочешь, а потому, что нет выхода.

Захожу в медицинский блок. Помещение встречает меня стерильным холодом и резким, незнакомым запахом — не больничным, не хлоркой, а чем-то другим, чистым и чуть горьковатым, как озон после грозы, только без грозы, без дождя, без земли. Кеннет сидит за столом, низко склонив голову, сосредоточенно перебирает колбочки — они разного размера и цвета, и жидкость в них переливается, когда он берёт каждую в руки и подносит к свету, словно читает что-то, что написано между делом, на поверхности стекла, невидимое никому, кроме него. Увидев меня, тут же вскочил на ноги и расплылся в искусственной улыбке — такой аккуратной, такой выверенной, что она ложилась на его лицо, как маска, снятая с полки и водружённая на место по случаю. Я определённо ему не нравлюсь, ну, или прошлая хозяйка этого тела. Интересно, какой она была? Что сделала этому человеку, раз он встречает меня с такой натянутой вежливостью, которая похожа не на радушие, а на тонкий лёд над чёрной водой: посмотришь — красиво, шагнёшь — провалишься.

— У вас что-то случилось? Где-то болит? Есть вопросы? — затараторил он, и слова вылетали быстрыми, рублеными, как горох из перевёрнутой банки, и в этой скорости читалось не столько беспокойство, сколько желание побыстрее закрыть вопрос и вернуться к своим колбочкам, к своим делам, ко всему тому, что не связано со мной.

— Нет, всё в порядке. Хотела узнать, когда я смогу поговорить с командиром корабля. Меня очень волнует моя дальнейшая судьба, — постаралась завуалированно узнать больше информации, и голос прозвучал ровно, почти спокойно, хотя внутри всё было натянуто, как струна, готовая лопнуть от малейшего прикосновения.

— Он, к сожалению, всё ещё занят. Может, я смогу ответить на ваши вопросы, виа Валерина? — и вот опять улыбается, а я прям всем нутром чувствую, как ему хочется меня послать далеко и надолго. Это ощущение — не мысль, не догадка, а что-то физическое, животное, как когда собака скалится, но не кусает, потому что цепь держит. Только здесь цепь — дисциплина, а клыки — в глазах.

— Меня интересует, что будет со мной, когда мы прилетим, — стараюсь не подавать вида, что чувствую фальшь в его отношении ко мне, и каждое слово подбираю с такой осторожностью, как ступеньки на скользкой лестнице: одну за другой, не торопясь, проверяя каждую на прочность.

— А что должно случиться? — он выглядел растерянным, и эта растерянность на мгновение сделала его настоящим, как трещина на маске, сквозь которую мелькнуло живое лицо. Я сказала что-то не то. Как же сложно не разбираться в происходящем — жить, как минёр в чужом поле, где каждый шаг может быть последним, а карта отсутствует, и ты не знаешь даже, где находишься, не то что куда идти.

— Меня сразу отпустят домой или мне надо будет давать показания о случившемся? — вроде правильно подобрала слова, и они легли ровно, как плитка на ровную стену, без щелей,

без перекосов. Чувствую себя сапером: шаг в сторону — и произойдёт взрыв. Точнее, попадусь на лжи, и тогда всё, что я так тщательно выстраиваю, рухнет, как карточный домик от одного неосторожного выдоха.

— Ооо, об этом не беспокойтесь. Мы были на вашем корабле, всё видели и напишем полный отчёт о происшествии. Вас отпустят домой сразу по прибытии. Ваших мужей предупредили, и они приедут вас встретить и сопроводить.

ЧТО?!!! Каких ещё мужей? Один же вроде погиб? Сколько их у этой барышни?!!! Куда я попала? Здесь разрешено многомужество?!!! Я не хочу жить с кучей мужиков! Они наверняка её любят и хорошо знают. Как я смогу притворяться человеком, о котором ничего не знаю?! Меня же сразу раскроют. Что тогда со мной будет? Опыты ставить начнут? Или сразу убьют? Боже, что делать? Мысли хаотично проносились в голове, мешая одна другой, сталкиваясь, разбиваясь, снова собираясь, как осколки калейдоскопа, который крутят слишком быстро, и вместо красивой картины получается лишь цветная, бессмысленная каша, от которой начинает тошнить.

Пока я предавалась невесёлым думам, раздалось пеликанье — резкий, короткий звук, похожий на звонок старого телефона, только выше, тоньше, металлическое, как удар камертона. Кеннет поднял руку, и я увидела на его руке такой же браслет, как и у меня, — гладкий, литой, плотно обхватывающий запястье, как живой, внимательный к каждому движению. Мужчина коснулся его, и перед его лицом развернулось мутное поле — полупрозрачное, мерцающее, висящее в воздухе, как мыльный пузырь, который не лопается, а держится, устойчивый и невозможный. Не знаю, что видел Кеннет, но с моей стороны была мутная рябь, как на старом телевизоре, когда теряешь сигнал и экран заливают серым, волнующимся шумом, в котором можно угадать что угодно, но нельзя разобрать ничего.

— Слушаю, командир, — заговорил он серьёзно, и голос его мгновенно изменился: из вежливо-натянутого стал чётким, собранным, как у человека, который знает, что каждое слово слышно, записывается и может быть использовано. В ответ прозвучало бульканье — низкое, глухое, ритмичное, как будто кто-то говорил сквозь толщу воды, и слова не пробивались, а булькали, как камни на дне бурлящего ручья. — Я веду беседу с виа Валериной, по этой причине задержал отправку файлов. — Это средство связи? Вновь слышу бульканье, и в нём, если прислушаться, угадывается интонация, ритм, паузы — всё, что свойственно речи, только звуки другие, нечеловеческие, как запись чужого голоса, прокрученная задом наперёд. — Я сейчас же вам всё отправлю. Тут виа Валерина интересуется, когда сможет с вами поговорить? — слышу бульканье, и в нём мне чудится что-то похожее на усталое согласие, после чего окно исчезает, схлопнувшись, как мыльный пузырь, не оставив и следа. — Подождёте минуту? Я должен отправить важные документы, — это уже мне. Кивнула в знак согласия, и кивок вышел неживым, как у куклы, которую дёрнули за ниточку.

Что получается? Браслет — это аналог телефона. Интересно, там есть интернет? Или что-то типа того? Командир разговаривал на другом языке? Вдруг осеняет меня, и это озарение приходит не как мысль, а как удар — тупой, тяжёлый, под рёбра, от которого перехватывает дыхание. А как я буду с ним общаться? Я не знаю этого языка. Он вообще человек? Они ведь бороздят космос! Где гарантии, что нет других рас! Как я не подумала об этом раньше?! Тут ведь могут быть и ящерицы какие-нибудь, и всем известные зелёные человечки, и ещё много других существ, о которых я не знаю, не могу знать, не должна знать, потому что в моём мире самое экзотическое существо — это соседский попугай, который умеет говорить «дай кушать». Встреть я кого до этого озарения, могла и инфаркт получить. Так... подождите... а мужья? Можно начинать молиться, чтобы они оказались людьми. Что я говорила? Не хочу жить с кучей мужчин. Беру свои слова обратно. Я готова, только бы не с зелёными человечками. Боженька, за что ты так со мной? Я ничего плохого не делала. Всегда жила по всем законам и заповедям. Людям помогала, в аптеке каждому подбирала лекарства так, будто это для родного, а не

для чужого человека, и ни разу не схалтурила, не отмахнулась, не сказала «идите к врачу», хотя могла бы, и никто бы не упрёкнул. И вот благодарность — космос, чужое тело, умерший муж, живые мужья и перспектива встретиться с инопланетным существом, от которого можно получить что угодно: от дружбы до серии опытов с препарированием.

Так, надо бежать к себе и изучать браслет. Не хотелось бы показывать, что не умею им пользоваться, потому что если Кеннет и так относится ко мне с натянутой вежливостью, то новость о том, что виа Валерина не знает, как пользоваться собственным средством связи, станет последней каплей, после которой маска спадёт, и за ней окажется не враждебность даже, а что-то хуже — интерес. А интерес Кеннета к моим странностям мне ни к чему. Начинаю отступать к двери, и каждый шаг назад даётся с трудом, потому что хочется не идти, а бежать, но бегство — это сигнал, а сигнал — это вопрос, а вопрос — это внимание, а внимание — это последнее, что мне сейчас нужно.

— Не буду вас отвлекать. Работайте спокойно. Всё что хотела, я узнала, — проговариваю быстро, и слова вылетают скороговоркой, натываясь друг на друга, как бегуны на финише, которые не могут остановиться и врезаются в зрителей. Срываюсь с места, и ноги несут меня по коридору так быстро, что серые металлические стены сливаются в одну сплошную полосу, как пейзаж за окном экспресса. Кеннет провожает меня растерянным взглядом — я это чувствую спиной, как чувствуют взгляд между лопаток, острый, тяжёлый, как кончик ножа, который приложили, но ещё не надавили.

ГЛАВА 5

Вернулась в каюту, и дверь закрылась за мной с тихим, почти неслышным шелестом, отрезая меня от коридора, от Кеннета, от всего этого невозможного мира, в котором я теперь живу. Залезла с ногами на кровать, подтянув колени к груди, как ребёнок, который прячется от грозы, и принялась изучать браслет. Металл на запястье был тёплым, почти живым, и от этого ощущения по коже пробегала лёгкая, щекочущая волна, как будто браслет дышал, и его дыхание было моим. При соприкосновении действительно разворачивается экран — не плоский, как на телефоне, а объёмный, висящий в воздухе на расстоянии вытянутой руки, мерцающий, полупрозрачный, с едва уловимым голубоватым свечением, которое освещало лицо, но не слепило глаза. Схожесть с телефоном на порядок упростила мне задачу: значки, окна, прокрутка — всё это было знакомо по форме, но чуждо по содержанию, как дом, в котором мебель стоит на привычных местах, но каждый ящик полон незнакомых вещей. Значки сильно отличаются от привычных на Земле: незнакомые символы, странные пиктограммы, которые поначалу казались бессмысленными, как древние руны, но постепенно обретали смысл, как слова на чужом языке, которые ты начинаешь понимать не разумом, а каким-то глубинным, интуитивным чувством. Стала методично открывать каждый и смотреть, какие заложены функции, и каждый новый значок открывал передо мной очередную дверь в чужую жизнь, а я входила, осматривалась и не знала, радоваться мне или пугаться.

Спустя примерно три часа моя голова наполнилась различными знаниями, и от этого обилия мозг гудел, перегруженный, как чемодан, в который запихнули слишком много вещей и теперь не могут закрыть крышку. Пойдём по порядку.

Это не просто браслет, а кладёз полезных функций и знаний, объединённых в один маленький предмет, который сидит на запястье, как вторая кожа, и знает о тебе больше, чем ты сам. Есть полный комплект документов в электронном виде — не надо таскать целую папку документов, как мы привыкли: паспорт, свидетельства, страховки, всё то, что раньше копилось в ящике комода и терялось в самый неподходящий момент. Открыл нужный файл, и вуаля! Паспорт, свидетельства о браках с фотографиями мужей, полный список имущества. Имею шикарный двухэтажный дом. Я — Валерина Рейн. Через пару недель мне исполнится двадцать

один год. На моей новой родной планете Виаран это второе совершеннолетие: с восемнадцати могу выходить замуж, и только с двадцати одного занимать серьёзные должности. Странно, но допустим. Что касается мужей. Погибший Шамир — восьмидесяти трёх лет. Сначала возраст мужей поверг в шок, как будто кто-то плеснул ледяной водой в лицо: восемьдесят три?! Но потом узнала, что продолжительность жизни около трёхсот лет, и цифра перестала пугать, а скорее удивила, как неожиданный поворот в книге, который меняет всё, что ты думал о сюжете. Успокоилась. Накаченный, я бы даже сказала перекаченный, с такими мышцами, которые выглядят не как результат тренировок, а как результат одержимости, — каждая жилка проступала сквозь кожу, как корни дерева сквозь тонкий слой почвы. Коротко стриженные русые волосы, ровные, жёсткие, как щетина. Суровое, немного злое лицо, с глубокими морщинами у рта и между бровями, которые говорили о том, что этот человек редко улыбался, а если и улыбался, то так, что от этой улыбки хотелось отодвинуться. Я бы за такого не вышла. Шамир был третьим мужем. Первый — Чар, тридцать пять лет. Подтянутый, красивый блондин с волосами цвета выбеленного солнцем льна и лицом, на котором улыбка выглядела бы естественно, как рассвет на восточном горизонте. Второй — Рик, семидесяти лет. Качок, но в меру, без той пугающей гипертрофии, как у Шамира. Чуть длинноватые вьющиеся волосы угольно-чёрного цвета, которые падали на лоб и виски мягкими, небрежными волнами, и от этого он выглядел не столько воином, сколько поэтом, который случайно попал в спортзал. Симпатичный. Не отталкивает, как третий. Судя по их внешности, вкуса у предшественницы не было: они кардинально разные, будто хватала то, что плохо лежало, как хозяйка на рынке, которая покупает всё подряд, не разбирая, потому что может себе позволить. Так я думала вначале. Но об этом чуть позже. У меня шикарный дом, владею несколькими разными фирмами. Я очень богата! О деньгах можно больше не думать, и от этой мысли внутри что-то расслабляется, как тугая пружина, которую наконец-то отпустили, и она медленно распрямляется, ещё дрожа от напряжения.

Нашла значок банка. У меня несколько разных счетов с кучей денег, и суммы мелькали на экране, перетекая друг в друга, как река, в которую впадают притоки. В ценах пока не особо разобралась, но количество нулей вселяет уверенность в богатстве — столько нулей не бывает у бедных людей, как столько звёзд не бывает на городском небе. Разобралась, как звонить и отправлять сообщения: интерфейс интуитивно понятный, жесты — касание, свайп, голос, и каждый жест браслет считывает с запястья, как будто читает не движение пальцев, а намерение.

Нашла-таки интернет. Здесь он называется гало-сеть, и название это звучит мягко, округло, как колокольчик, и от него веет чем-то необъятным, как от слова «галактика», которое произносят шёпотом, потому что в полный голос оно не помещается. Почитала о планете. У них случилось то, к чему медленно движется Земля. Экологическая катастрофа. Женщины, как более слабые, стали часто болеть и умирать — не резко, не сразу, а постепенно, как дерево, которое теряет листья одно за другим, и каждое падение кажется случайностью, пока не останется голый ствол. Снизилась рождаемость. В итоге перевес мужчин стал значительным, и этот перевес ощущался везде: на улицах, в домах, в голосах, в тишине, которая наступала, когда разговор заходил о детях. От того и разрешили многомужие — не из прихоти, не из распушенности, а от отчаяния, от необходимости, от того тихого, безмолвного ужаса, который охватывает общество, когда понимает, что может исчезнуть. Стали чистить планету и успешно с этим справились. Видела фото — не планета, а заповедник: настолько всё утопает в зелени, что города кажутся не построенными, а выращенными, словно дома — это часть леса, а лес — это часть города, и граница между ними стёрта так тщательно, что уже непонятно, где природа, а где цивилизация. Зелень была такой густой, такой насыщенной, что от одного взгляда на фотографию хотелось вдохнуть глубже, и казалось, что воздух с экрана пахнет мокрой травой, и землёй, и цветами, названия которых я не знала.

В научных центрах стали изобретать иммунные препараты. Пытались искусственно повысить рождаемость и создать сверхчеловека. Что-то напортачили — не мелочь, не ошибка в расчётах, а что-то масштабное, непоправимое, как трещина в фундаменте, которая начинается с волоска, а заканчивается тем, что дом рушится. Вследствие чего произошли генные мутации. Я, кстати, владею таким научным центром и больницей, где работают над вакциной, позволяющей повысить рождаемость девочек, и от этого известия внутри что-то дрогнуло — не от гордости, а от странного, щемящего чувства, будто мне вручили чужую мечту, которую я ещё не понимаю, но уже обязана нести.

Теперь женятся не по любви, а по какому-то притяжению. Не до конца поняла, что это. У мужчины, когда он встречает свою женщину, которая сможет подарить ему здоровое и сильное потомство, загораются глаза — не метафорически, а буквально: в них появляется свет, горячий, яркий, неугасимый, как будто внутри зажигается фонарь, который был погашен всю жизнь и вдруг нашёл свой источник. Он начинает чувствовать сильное притяжение — не мысли, не желание, а что-то глубинное, звериное, первобытное, что тянет его к ней, как магнит тянет железо, без вопросов, без сомнений, без права на отказ. Женщине ничего не остаётся, как строить свою жизнь с ним. Если откажет, то этот мужчина будет обречён на вечное одиночество, так как из-за притяжения к ней не сможет быть больше ни с одной женщиной — и это «не сможет» звучит не как правило, а как приговор, безапелляционный и бессрочный. А вот женщина не чувствует притяжения. Поэтому если не сможет полюбить, придётся жить с нелюбимым — рядом, но не вместе, в одном доме, но не в одном мире, как два дерева, которые растут из одного корня, но тянутся в разные стороны. Крайне странная для меня ситуация, и от неё веет такой несправедливостью, что хочется крикнуть, но некому, потому что некому слушать — здесь так устроено, и никто не считает, что это неправильно.

Но есть и плюсы. Такие мужчины возводят свою избранницу чуть ли не в богини. Он никогда не поднимет на вас руку. Не сможет навредить, запретить, унижить или отказать. В общем, из него можно верёвки вить, и эта фраза здесь — не метафора, а буквально описание образа жизни. Чем собственно женщины этой планеты и занимаются. Видела пару небольших роликов, и каждый из них оставлял после себя осадок, горький, тяжёлый, как камень на дне желудка. Мужчина, встретив свою единственную, просит принять себя в её семью, и в этом прошении есть столько открытости, столько незащитности, что смотреть тяжело — он стоит перед ней, как стоит человек, который отдал всё, включая право на собственное достоинство, и ждёт ответа, как приговорённый ждёт вердикта. При положительном ответе передаёт всё своё честно нажитое до последней копейки — и не потому, что обязан, а потому, что не может иначе, как не может сердце не биться. Эти «прости господи бабы» сначала изучают передаваемое, потом, если не устраивает сумма, могут отказать — и отказывают, без дрожи в голосе, без тени сомнения, как клерк, который отклоняет заявку с недостаточным балансом. Согласившись, становятся обладательницами богатств и жизни мужа. Вы не ослышались — именно жизни. С момента заключения брака только жена решает, что будет делать муж: где работать, что одевать, есть, сидеть дома, куда ходить. Да абсолютно всё!!! Это же полный бред! Но они так живут. Так они имеют хотя бы малюсенький шанс на счастье и детей, и этот шанс — как соломинка, за которую хватаются утопающие: держаться больно, но отпустить — значит пойти ко дну.

Видела одно такое предложение «руки и сердца», долго плевалась в экран. Парень встретил свою вторую половинку и просился в семью. По виду действо происходило в парке или на площади — открытом, светлом, с деревьями, которые казались декорациями к чужому спектаклю. Было много людей, и все смотрели, как на бесплатный цирк, и в их глазах не было ни жалости, ни сочувствия — только любопытство, ленивое, сытое, как у зрителей, которые пришли развлечься и знают, что билет ничего не стоил. Девушка придирчиво листала файлы в браслете, и лицо её было таким равнодушным, таким отстранённым, словно она выбирала

не мужа, а обувь на распродаже. Минут пять не меньше. Потом перевела взгляд на бедолагу, ещё столько же изучала его — скользила взглядом сверху вниз, снизу вверх, задерживалась на деталях, и каждый её взгляд был как прикосновение холодного пинцета, которым берут образец и рассматривают на свет. Микроскопа не хватало для более детального изучения. И наконец, громко, во всеуслышание, заявила:

— Не так много, как хотелось бы, но так уж и быть, приму тебя в семью...

Так уж и быть?!?! Это бл... что?!?! Я бы послала её в... А она продолжает, и голос звучит ровно, буднично, как объявление о снижении цен:

— Если будешь целовать мне руки и после каждого поцелуя говорить комплимент, и так... двадцать раз.

Выключила на первом поцелуе, не стала смотреть на унижение парня, и экран погас, а перед глазами остался образ: молодой мужчина, стоящий на коленях перед девушкой, которая смотрит на него сверху вниз, и в её взгляде нет ни тепла, ни благодарности — только снисходительность, густая, как патока, и такая же приторная. Руки сжались в кулаки, и ногти впились в ладони, и боль от этого была единственным ощущением, которое казалось настоящим.

Какая тут может быть любовь, когда ваша жизнь начинается с публичного унижения? И тут меня посетила неожиданная мысль, холодная, как укол под рёбра. А любят ли мужья это тело? Или их притянуло к телу, а не к душе, которая в нём жила? И что мне делать, если притяжения ко мне не будет, потому что я — не та, к кому они тянулись, и внутри меня живёт чужая душа, чужие мысли, чужой опыт, чужая боль? Здесь нет разводов. Они просто не предусмотрены, как не предусмотрены окна в подводной лодке: конструкция не предполагает, что кто-то захочет выйти. Притяжение — это один раз и на всю жизнь, и «на всю жизнь» здесь звучит не как клятва, а как срок. Наверняка никто не предполагал, что в теле может поселиться новая душа, как никто не предполагает, что в доме может появиться новый хозяин, пока старый в отъезде. Мне-то что делать? Я одновременно жду и боюсь этой встречи, и эти два чувства живут в груди рядом, как два зверя в одной клетке, которые то ли притворяются спокойными, то ли действительно устали друг от друга. Как бы узнать, что делала прошлая Валерина при встрече с мужьями? Через какое унижение провела парней, и было ли оно унижением для неё или просто привычным ритуалом, как утренний кофе, который пьёшь, не задумываясь о вкусе?

Казалось бы, живи и радуйся. Не будет предательств, как в прошлой жизни, не будет мужа, который сравнит тебя с сырым подвалом, не будет сына, который купит отцу проститутку и назовёт это «механикой». Но осознание происходящего повергает в тихий ужас — не громкий, не истеричный, а тихий, как туман, который подкрадывается незаметно и заполняет всё пространство, пока не остаётся ни одного прозрачного уголка. Я не смогу так. Я не готова вытирать ноги о мужчин, даже о тех, кто сам подставляет спину и ждёт, когда наступят. Даже больше — я не смогу смотреть на это со стороны. Если увижу такое рядом, обязательно вступлюсь, и это «обязательно» звучит внутри не как обещание, а как факт, как что-то, что сделаю без раздумий, рефлекторно, как отдёргиваешь руку от горячего. Как мне с моими устоями вписаться в здешнюю жизнь, где устои перевёрнуты, как перевёрнута песочные часы, и песок сыплется не вниз, а вверх? Что будет, если я поругаюсь с другой женщиной или, не дай бог, побую? С одной стороны, женщина неприкосновенна и может делать всё, что захочет. С другой, она навредит такой же неприкосновенной, и в этом противоречии есть что-то такое, от чего законы должны были бы трещать, но почему-то не трещат. В законах планеты ничего об этом не сказано. Может, раньше не было прецедентов? Может, каждой совершенно плевать на то, что делает другая, и это равнодушие — не сила, а просто привычка, как привычка не замечать бездомных на улице, потому что их слишком много, чтобы каждому сочувствовать? Смешно будет, если специально для меня напишут парочку новых законов. Закон будет запрещать вторжение в частную жизнь другой женщины и иметь перечень наказаний за неповиновение. Что-то мне подсказывает, что и издание закона меня не остановит, потому что совесть

нельзя отменить указом, а сострадание нельзя запретить параграфом. Во всём этом безумии могут выиграть только мои мужья. Если прошлая Валерина к ним плохо относилась, то я этого делать точно не планирую. Даже если это будет грозить мне раскрытием моей личности, потому что тайна — тайной, а чужая боль — чужой болью, и первая не стоит второй, как монета не стоит человеческого достоинства. Себя не переделать. А в столь ужасную сторону тем более.

Первый муж Чар. Второй муж Рик.





Погибший третий муж Шамир.



ГЛАВА 6

Изучаю имеющиеся сведения о жизни людей на Виаране. Хотелось как можно больше узнать о взаимодействии мужчин и женщин между собой — не из праздного любопытства, а из глубокой, почти животной потребности понять правила игры, в которую меня втянули без моего согласия, без инструкций, без права на отказ. Если о Валерине и её мужьях узнать пока не имею возможности — их личные файлы закрыты, запаролены, спрятаны за значками, которые не открываются, как чужие замки, к которым нет ключа, — то хотя бы буду иметь представление об общих правилах и привычках. Буду знать, как себя вести, чтобы не выдать себя на первой же минуте, не споткнуться на каком-нибудь пустяке, который здесь считается само собой разумеющимся, как дыхание. Но знания, скажу я вам, удручающие. Чем больше смотрю роликов, тем злее становлюсь, и эта злость растёт постепенно, как температура у больного: сначала лёгкий озноб, потом жар, потом бред. Я не понимаю, как они это терпят. Сильные мужчины, рядом с женщиной становятся просто тряпками — не метафорически, а буквально: взгляд гаснет, плечи опускаются, голос становится тише, и весь человек будто сдувается, как воздушный шарик, из которого медленно выпускают воздух. За столько лет могли бы уже что-то предпринять. Собрались бы и дали отпор. Мужчин гораздо больше, вся физическая работа

лежит на мужских плечах. Я бы даже сказала, практически вся работа лежит на плечах сильного пола: защита планеты, новые технологии, выращивание и изготовление продуктов питания. Да все базовые системы жизнеобеспечения — от канализации до космических кораблей, от хлеба до лекарств, от уборки улиц до обороны границ. Могли устроить забастовку хотя бы — одну, хоть раз за тысячу лет, хоть один день не выйти на работу, остановить заводы, остановить поля, остановить корабли, и посмотреть, как женщины справятся сами. Но за тысячу лет не было ни одной попытки переломить ситуацию. Ни одного бунта, ни одного восстания, ни одного голоса, который сказал бы: «Хватит». Я в полном шоке, и этот шок похож не на удивление, а на то чувство, которое испытываешь, когда видишь здорового, сильного человека, который стоит на коленях и не пытается встать, не потому что не может, а потому что не знает, что можно. Как парням с детства промыли мозги, или всё же дело в притяжении? Не успела развить эту мысль, потому что что-то произошло.

Корабль начало сильно трясти — не качнуть, не вздрогнуть, а именно трясти, так, что зубы лязгнули, а кровать подпрыгнула подо мной, как живое существо, испуганное не меньше моего. Слышался скрежет металла, долгий, протяжный, как животный вой, и хлопки, очень похожие на взрывы, — глухие, далёкие, но от каждого вздрагивали стены, и вибрация пробежала по ним, как по струне, которую дёргают всё сильнее и сильнее. Замигал свет — раз, другой, третий, и после третьего моргания стало ясно, что он не моргает, а умирает, пытается выжить, как свеча на ветру, которая уже не сопротивляется, а просто ждёт, когда порыв задует её окончательно. По стенам и полу пошла вибрация — мелкая, частая, от которой дрожало всё тело, и зубы стучали, и браслет на запястье пульсировал в такт с этой дрожью, как второе сердце, которое бьётся быстрее первого. Жутко. Приходили ассоциации, схожие с консервной банкой: сидишь внутри, и подручными средствами кто-то пытается её вскрыть и достать тебя, и каждый удар по стенке отдаётся внутри гулким, металлическим звоном, который резонирует в костях, в зубах, в самой крови. Накатывает панический страх — не мысль, не ощущение, а волна, которая поднимается откуда-то из живота, заливая грудь, горло, голову, и от неё темнеет в глазах, а руки становятся чужими, холодными, как у манекена. Желание спрятаться не покидает, а вот здравый смысл говорит: на поверхности спастись легче. Только с каждым новым толчком здравого смысла становится всё меньше, и он тает, как снег в ладонях, оставляя после себя лишь мокрую, дрожащую тревогу. Хочется выглянуть в коридор и посмотреть, что происходит там, и от этого желания внутри всё сжимается в тугий узел: и хочется, и колется, как говорится. Перед глазами то и дело мелькают картинки, одна страшней другой — не воспоминания, не фантазии, а обрывки, осколки воображения, которые мозг генерирует в панике, как аварийная сигнализация, которая включает все сирены разом. Кажется, что по коридорам ходят жуткие монстры и сжирают каждого, кого видят на своём пути, — и эти монстры не имеют лица, не имеют формы, а состоят из одного лишь страха, который принимает тот облик, который пугает именно тебя. На всякий случай встала за шкаф — прижалась спиной к холодному металлу, и холод этот проник сквозь ткань, прошёл по позвоночнику, и от этого стало чуть яснее в голове, как будто тело решило, что если уж не спастись, то хотя бы умереть трезвой. Так меня не сразу заметят. Стою, трясусь, и тряска идёт не только снаружи, но и изнутри, и две эти дрожи складываются в одну, общую, непрерывную, от которой некуда деться, потому что негде укрыться от самого себя. Думаю, что делать, если ворвутся злоумышленники. Можно, конечно, прикинуться ветошью — лечь, закрыть глаза, притвориться мёртвой или, что ещё лучше, неживой, как мебель, как стена, как предмет, который не представляет интереса. Сказать, что случайно здесь оказалась и не в курсе происходящего, и эта ложь звучит внутри так неубедительно, что даже придумавший её мозг кривится от стыда. Можно попытаться дать отпор или сбежать — отпор чем? Руки? Ногти? Браслет, который я даже толком использовать не умею? Бежать — куда? Можно многое, но итог один. Мы же в космосе. Это всё равно что находиться в море или в небе: с корабля нет выхода, и вокруг — не свобода, а бесконечная, безвоздушная пустота,

в которой человек не проживёт и минуты, и эта минута будет минутой мучительного, медленного удушья. Он развалится — и я погибну. Его захватят — и тогда неизвестно, что лучше: умереть или выжить, потому что выживание в чужих руках — это не жизнь, а отсрочка, и неизвестно, что ждёт за этой отсрочкой. Какая-то короткая у меня новая жизнь получается, и от этой мысли хочется смеяться, но смех не идёт, потому что вместо него из горла рвётся только сиплый, надломленный звук, похожий на всхлип. Цепляюсь за шкаф, чтобы не упасть от постоянной тряски, и жалею бедную себя — жалею так, как жалеют только в самом отчаянном положении, когда жалость к себе становится последним утешением, последним, что осталось, как последняя спичка, которую не решаешься зажечь, потому что знаешь: когда она сгорит, станет темнее, чем было до неё.

Не знаю, сколько прошло времени с начала тряски — минуты, часы, вечность, всё слилось в один непрерывный, дрожащий кусок, внутри которого время перестало существовать, как перестаёт оно существовать в кошмаре, где секунда длится год, а час — мгновение. Входная дверь приходит в движение, и от этого движения сердце проваливается куда-то вниз, в живот, в пятки, в пол, и руки сжимаются в кулаки так, что ногти оставляют на ладонях красные полумесяцы, которые я не чувствую, потому что чувствую только одно: страх, тупой, всеобъемлющий, как звук, который заполняет всё пространство и не оставляет места ни для чего другого. В комнату врывается мужчина — не входит, не появляется, а именно врывается, как порыв ветра в распахнутое окно, и от этого вторжения воздух в комнате меняется, становится плотнее, тяжелее, и кажется, что даже вибрация стен на мгновение стихла, будто корабль тоже вздрогнул от неожиданности. Высокий, с хорошей мышечной массой — это видно и сквозь одежду, потому что ткань обтягивает плечи, грудь, руки так, что мышцы проступают сквозь неё, как рельеф сквозь тонкую бумагу, и от этого контура тела веет такой сдержанной, собранной силой, что становится одновременно безопасно и тревожно: безопасно, потому что сильный, тревожно, потому что неизвестно, чей он. На нём чёрный костюм из кожи и пластика, по крайней мере на вид — плотный, матовый, без единого блика, и от него веет чем-то военным, функциональным, в нём нет ничего лишнего, ни одного декоративного элемента, каждая деталь служит цели, и цель эта — защита, выживание, бой. Аккуратная бородка, или, скорее, щетина чуть больше нужного — тёмная, густая, и она не скрывает лицо, а подчёркивает его, как рама подчёркивает картину. Короткие волосы цвета тёмного шоколада — не чёрные, не каштановые, а именно тёмного шоколада, с тёплым, едва уловимым отливом, который можно заметить только при определённом освещении, и сейчас, при мигающем, умирающем свете, этот отлив то появлялся, то исчезал, как огонёк в темноте. Озирается по сторонам, хмурится, показывая морщинки на лбу — две глубокие, вертикальные, между бровями, и от них взгляд кажется ещё серьёзнее, ещё собраннее, как у человека, который привык оценивать ситуацию за секунды и принимать решения, от которых зависят жизни. Красивый мужчина — и это замечание приходит не к месту, не ко времени, как неожиданный гость на похоронах, но оно приходит, и от него внутри что-то дрогнуло, что-то, что не связано со страхом, что-то, что я не могу, не хочу, не имею права сейчас чувствовать. Боже, о чём я думаю в такой момент! Интересно, он друг или враг, и этот вопрос повисает в воздухе, как капля перед падением, и от ответа зависит всё — буквально всё, потому что за правильный ответ — жизнь, за неправильный — неизвестно что, но точно не жизнь.

— Виа Валерина, — произносит тихо моё имя, и в этом тихом произнесении столько сдержанности, столько усилия, что слышно: он кричит внутри, но голос держит, потому что знает — крик не поможет, а спокойствие может. Тряска усиливается, как и скрежет, и от скрежета хочется закрыть уши, но руки не слушаются, потому что заняты — цепляются за шкаф, за стену, за что угодно, лишь бы не упасть, не скользить по полу, который ходит ходуном, как палуба корабля в шторм. — Виа Валерина, вы где? — повышает голос, нервничает, и в этом нервном повышении читается не раздражение, а тревога — настоящая, неподдельная, как

у человека, который ищет кого-то в горящем доме и знает, что каждая секунда может стать последней. — Я командир этого космического корабля Билтар Орд. На нас напали. Я пришёл вас спасти.

Выхожу из-за шкафа на свой страх и риск, и каждый шаг даётся с трудом — не потому что пол трясётся, а потому что доверие не ходит, а падает, как первый снег: медленно, неуверенно, не зная, ляжет ли, растает ли. Поверила ему, надеюсь, не зря, и эта надежда — единственное, что у меня есть, единственное, что можно противопоставить страху, и она тоньше, легче, прозрачнее, чем воздух в этой трясущейся, стонущей металлической коробке. Билтар выдыхает, немного расслабляется — плечи опускаются на сантиметр, морщинки на лбу чуть разглаживаются, и от этого микро-движения становится ясно: он действительно искал, действительно беспокоился, и мой вид за шкафом, вид перепуганной женщины, которая пряталась от опасности, как ребёнок прячется под одеялом, был для него ответом, который он хотел получить. Подходит ближе, и с каждым шагом пол дрожит всё сильнее, но он идёт ровно, как будто вибрация не касается его, как будто он привык к этому, как моряк привыкает к качке и перестаёт её замечать.

— Нам срочно нужно покинуть корабль, он вот-вот развалится, — по-военному чеканит слова, передавая основную суть, и в этом чекане нет ни капли сомнения, ни тени неуверенности — каждое слово как гвоздь, вбитый с первого удара, и от этой уверенности внутри что-то успокаивается, не страх, нет, страх на месте, но рядом с ним появляется что-то твёрдое, за что можно держаться.

— Хорошо, — подхожу к нему, встречаемся взглядом, и время замирает, как застывает кадр на экране, когда нажимаешь паузу: его глаза — тёмно-карие, глубокие, с той плотной, насыщенной темнотой, в которой можно утонуть, как в колодце без дна — на секунду вспыхивают ярким зелёным свечением. Не метафорически, не «показалось» — вспыхивают, загораются изнутри, как будто кто-то зажёт в них фонарь, зелёный, горячий, живой, и от этого света по телу пробежала волна, не страха, не холода, а чего-то другого, чему я не могу подобрать названия, — что-то между теплом и головокружением, между предчувствием и узнаванием, как будто тело знает то, чего разум ещё не понял.

Это то, о чём я думаю? Его ко мне притянуло? У меня появится третий муж? Господи, о чём я опять думаю в такой ситуации? Но произошедшее не хочет покидать мой разум, и этот зелёный свет стоит перед глазами, как изображение после от вспышки, — горит, пульсирует, не гаснет, и от него внутри всё переворачивается, потому что если это действительно притяжение, то всё стало ещё сложнее, ещё запутаннее, ещё безнадежнее, чем было до этого.

Билтар делает глубокий вдох, медленный выдох — и от этого выдоха зелёный свет в глазах тускнеет, гаснет, как фонарь, который прикрыли ладонью, и лицо снова становится собранным, военным, чужим. Отходит к стене, прикладывает руку, и настенные панели расходятся в сторону с тихим, механическим скольжением, открывая вид на две железных капсулы с небольшим стеклянным окошком — узкие, длинные, матовые, и от них веет холодом, пустотой и чем-то таким, что заставляет внутри всё сжаться в точку, потому что эти капсулы похожи на гробы больше, чем тот стеклянный ящик, в котором я очнулась. Открывает одну и говорит:

— Скорее забирайтесь внутрь, — протягивает руку, намереваясь помочь, и в этом жесте столько спокойной, непреклонной решимости, что рука сама тянется навстречу, но ноги не двигаются.

— Что?! Я в этот гроб не полезу, — тут же упираюсь, и голос звучит не столько испуганно, сколько категорично, как у человека, который уже однажды лежал в стеклянном ящике и не хочет повторять. После стеклянной лечебной капсулы, а именно в ней я проснулась, я, похоже, стала бояться замкнутого пространства, и этот страх не приходит из головы — он понимается из тела, из мышц, из костей, животный, первобытный, не поддающийся логике, и от него потеют ладони, и сжимается горло, и воздух становится густым, как кисель.

— Какой гроб? Что это? А, не важно, — отмахнулся, а я задумалась: как тогда у них хоронят? Если гробы — это спасательные капсулы, то что служит гробом? Или они вообще не хоронят, а сжигают, или отправляют в космос, как в тех фильмах, где тело в капсуле выпускают в открытый космос, и оно летит вечно, среди звёзд, молчаливое и одинокое. — Это спасательная капсула. Она доставит вас на планету. Осталось не так много времени. Будьте благоразумны, иначе погибнете, — принимается уговаривать меня, и даже в голосе появились тёплые нотки — не профессиональные, не дежурные, а настоящие, как у человека, который действительно переживает, и от этих ноток внутри что-то дрогнуло, потому что я не привыкла к тому, что мужчина переживает за меня без корысти, без уловки, без подвоха, просто потому что переживает.

— Я правда не могу. Я боюсь, — хочу объяснить, не успеваю. Начинается сильная тряска, такая, что пол уходит из-под ног, стены стонут, и скрежет переходит в вой, высокий, пронзительный, как сирена, от которой хочется закрыть уши и свернуться в клубок, и стать маленькой, незаметной, исчезнуть.

Билтар подхватывает меня как пушинку — и от этого «как пушинку» внутри что-то обрывается, потому что я не пушинка, я женщина, которая весит пятьдесят с лишним килограммов, но он поднимает меня так легко, как будто я ничего не вешу, как будто гравитация для него — не закон, а рекомендация, которую он решил проигнорировать. Движения скованные, но хватка твёрдая — руки обхватывают, как тиски, надёжно, безболезненно, и от этой хватки приходит странное, неуместное, невозможное чувство: безопасность, как в детстве, когда отец подхватывал на руки и нёс через двор, и весь мир становился далёким, маленьким, нестрашным. Буквально закидывает в капсулу, и внутренности капсулы встречают меня холодом, темнотой, запахом металла и пластика, и от этого запаха к горлу подкатывает тошнота, но тело уже внутри, и назад дороги нет. Быстро закрывает крышку, и свет из капсулы исчезает, остаётся только маленькое стеклянное окошко, через которое видно лицо Билтара — собранное, сосредоточенное, и в глазах — уже без зелёного свечения, но с чем-то, что ещё более тревожным, потому что это что-то похожее на заботу, а забота от незнакомца в момент опасности страшнее самого страха, потому что к ней не готов. Нажимает что-то на своём браслете, сам запрыгивает в соседнюю капсулу, и я перестаю его видеть.

Командир корабля Билтар Орд.



Капсула взлетает вверх — не плавно, не постепенно, а рывком, таким резким, что всё тело вдавливаются в стенку, а внутренности проваливаются вниз, как при движении лифта, только в разы сильнее, в десятки раз, и это ощущение похоже не на падение, а на то, как будто кто-то схватил тебя за живот и потянул вниз с такой силой, что воздух вышел из лёгких сам собой, без спроса, без разрешения. Начинается дикий перегруз в организме — не давление, не тяжесть, а что-то большее, что-то, что превращает тело в кусок свинца, и каждая клетка, каждый атом становится в сто раз тяжелее, чем был секунду назад, и кровь густеет, и сердце колотится так, словно пытается прокачать через себя не кровь, а ртуть. Пока могу бороться с нарастающим гудением в голове — оно приходит не снаружи, а изнутри, пульсирует в висках, в затылке, за глазами, и с каждой секундой становится всё громче, всё плотнее, как будто внутри черепа включили сирену и прибавляют звук, и прибавляют, и прибавляют. Смотрю в окошко — единственное, что осталось от мира снаружи, маленький, мутный круг стекла, за которым разворачивается то, от чего хочется отвернуться и что невозможно перестать смотреть.

Рядом летит вторая капсула — Билтарова, и от этого зрелища становится чуть спокойнее, не потому что безопасно, а потому что не одна, и в одиночестве умирать страшнее, чем вдвоём, хотя умирать, вероятно, одинаково страшно в любом количестве. Вижу, как наш корабль разлетается на куски — не взрывается, не разрушается, а именно разлетается, как рассыпавшийся

конструктор, и каждый кусок, оторвавшись от основного тела, вспыхивает и гаснет, как уголь, который выбросили из костра. Частично объятый пламенем — и пламя это не жёлтое, не оранжевое, а какое-то другое, с голубоватым, белёсым отливом, и от него идёт такой свет, что даже сквозь стекло окошка больно глазам, и я отворачиваюсь, но ненадолго, потому что невозможно отвести взгляд от того, что было твоим домом последнюю неделю — пусть не домом, пусть клеткой, пусть чужим, но всё-таки единственным, что было между тобой и космосом. Рядом три корабля другого вида. Наш был похож на объёмный, сплюснутый ромб — тяжёлый, основательный, с бортами, которые казались толщиной в метр, и от этой толщины веяло надёжностью, которую теперь, глядя на осколки, хочется назвать иллюзорной. Эти же на треугольники с закруглёнными концами — стремительные, острые, хищные, и их форма сама по себе говорит о цели: не защита, не перевозка, а атака, и каждый их силуэт — это нож, направленный в чью-то сторону. Они меньше нашего вдвое, но их три, и трое против одного — не бой, а казнь, и эта диспропорция видна так ясно, что от неё делается стыдно, как стыдно бывает за того, кого быют численным перевесом, и не могут дать сдачи. Взяли нас лишь количеством, и в этом нет ни чести, ни искусства, только арифметика, безжалостная и простая, как удар кулака по открытому лицу. Вели обстрел с трёх сторон — и каждый залп отбрасывал тени на стенки корабля, которые уже не было, но которые глаза всё ещё видели, потому что мозг не успел понять, что дом исчез, и продолжал достраивать его там, где осталась только пустота и пламя.

Они продолжали стрелять, хотя корабль уже рассыпался кусками, и в этой стрельбе было столько бессмысленной, методичной жестокости, что от неё мороз по коже, потому что стрелять по мёртвому — это не война, это добивание, и добивают не врага, а саму возможность того, что кто-то выжил. Я не сразу поняла, что они стреляют уже не по кораблю, а по капсулам, разлетающимся от него в разные стороны, — маленьким, безоружным, беспомощным, как птенцы, выпавшие из разорённого гнезда, и каждый залп — это выстрел в незащитное, и от этого зрелища внутри всё скручивается в такой тугий узел, что хочется закричать, но крик не выходит, потому что перегруз прижал голос к горлу, как ладонь прижимает крик чужого рта. В те, которые попадали, взрывались яркими вспышками — короткими, ослепительными, и каждая вспышка — это капсула, а каждая капсула — это человек, а каждый человек — это жизнь, которая только что была и больше нет, и от этой вспышки не остаётся ничего, ни тела, ни обломков, только свет, который гаснет через секунду, и пустота, которая остаётся навсегда. Страшное зрелище — и «страшное» здесь не слово, а ощущение, физическое, телесное, которое начинается где-то в животе и поднимается вверх, заливая всё, наполняя каждую клетку таким густым, липким ужасом, что хочется закрыть глаза, но глаза не закрываются, потому что тело знает: если закроешь — не увидишь, а если не увидишь — не успеешь, и это «не успеешь» страшнее, чем видеть. Смотреть, как гибнут люди на твоих глазах — люди, которых ты не знала, не успела узнать, не успела даже рассмотреть, и они уже ушли, и от них осталась только вспышка, которая через секунду стала ничем. Смотреть, как тебя убивают и не иметь возможности ответить — ни выстрелить, ни увернуться, ни закричать, ни даже закрыть глаза, потому что перегруз не даёт, и веки не слушаются, и тело стало чужим, и единственное, что осталось, — это смотреть и считать вспышки, и каждая — это чья-то смерть, и ты считаешь их, как считают секунды до собственной, и не знаешь, которая из них твоя.

В капсулу, которая летела рядом, ударился кусок железа от погибшего корабля — глухой удар, от которого капсула качнулась, как лодка от волны, и от этого удара внутри всё оборвалось, потому что рядом — Билтар, и если капсула повреждена, то и он... Капсулу закрутило — завертело вокруг своей оси, и в окошке замелькали звёзды, корабли, обломки, свет, тьма, свет, тьма, и от этого мелькания заболела голова, и тошнота подступила к горлу, и я стиснула зубы, чтобы не вырвало, потому что в капсуле негде, и от собственной рвоты можно задохнуться, и это была бы такая глупая, постыдная смерть после всего, что я пережила. Не знаю, что случилось, но она стала набирать скорость, и моя капсула потянулась в её сторону, тоже

ускоряясь, и от этого ускорения перегруз удвоился, утроился, и тело стало таким тяжёлым, что казалось, ещё немного — и кости не выдержат, и плоть продавит металл, и я просочусь сквозь стенки капсулы, как вода сквозь сито. Мы стремительно отдалялись от опасности, и стреляющие корабли становились меньше, тусклее, превращались в точки, а точки — в ничто, и от этого расстояния вселялась надежда на благополучный исход — слабая, дрожащая, как огонёк свечи на ветру, который то разгорается, то почти гаснет, но держится, цепляется за фитиль и не сдаётся. И в то же время — страх перед запредельной скоростью, которая не ощущается как движение, а ощущается как давление, как сжатие, как будто вся вселенная давит на эту маленькую железную капсулу, и капсула несётся сквозь неё, как пуля сквозь воду, и вода смыкается за ней, и следа нет, и пути назад нет, и пути вперёд — тоже пока не видно. В голове загудело сильнее, и гул этот стал не звуком, а чем-то объёмным, что заполнило весь череп, все мысли, все чувства, вытесняя их, как вода вытесняет воздух из перевернутого стакана, — сначала страх, потом боль, потом образы, потом слова, и последним ушло ощущение тела, и осталось только гудение, ровное, глухое, бесконечное, и в этом гудении — покой, тёмный, тяжёлый, как дно колодца, в который падал камень и наконец достиг дна. Перегрузка была невыносимой, и я отключилась — не потеряла сознание, а именно отключилась, как выключатель, который повернули, и свет погас, и темнота пришла мягко, без сопротивления, без боли, как сон, который накрывает, когда ты слишком устал, чтобы сопротивляться.

Приходила в себя тяжело — не выплывала, не пробуждалась, а выбиралась, как из глубокой траншеи, цепляясь за стенки, которые осыпались, и каждый шаг вверх стоил таких усилий, что хотелось сдаться и остаться на дне, где темно, тихо и не нужно двигаться. Голова гудела, но уже не так сильно — не сиреной, а далёким, приглушённым эхом, как будто кто-то выключил основной источник звука, но стены ещё гудят, резонируют, не успели замолчать. Состояние как после центрифуги — когда тело вращали с такой скоростью, что каждая клетка кричит, а потом остановили, и клетка ещё не поняла, что всё кончилось, и продолжает вибрировать, дрожать, напоминать о том, что было, каждым волокном, каждой нитью. Первое пробуждение мне понравилось больше — тогда, в стеклянной капсуле, когда открыла глаза и ничего не болело, и тело было молодым, новым, незнакомым, и от этого новизны веяло таким свежим, почти радостным чувством, как будто начинаешь жизнь заново и впереди — только хорошее. Тогда чувствовала себя новорождённой, а сейчас дряхлой старухой — не метафорически, а телесно: каждый сустав ноет, каждая мышца стонет, каждая кость напоминает о себе тупой, ноющей болью, которая не сильна, но постоянна, как фоновый шум, от которого нельзя отвернуться, потому что он везде, он и есть ты. Ломит всё тело, сил нет, слабость дикая — не та слабость, которая бывает после долгого дня, а та, которая бывает после того, как тело отдаёт всё, до последней капли, и остаётся пустым, выжатым, как губка, из которой выкрутили воду, и теперь она сухая, жёсткая, и если сжать — рассыплется. Глаза не открываются — не потому что тяжело, а потому что страшно, потому что за закрытыми веками — темнота, а в темноте — покой, а если открыть, вернётся свет, а со светом — мир, а с миром — всё то, от чего я только что отключилась, и к этому возвращению не готова, не готова, не готова. Хочется лечь, чтобы стало легче, только я уже лежу, и от этого осознания хочется смеяться, но вместо смеха из горла выходит сиплый, сухой хрип, похожий на скрежет несмазанного механизма.

— Где я? — прохрипела кое-как в неизвестность, особо не надеясь услышать ответ, и голос прозвучал так, будто кто-то другой говорил моими губами — голос хриплый, надломленный, севший, как у человека, который молчал годами и теперь пытается вспомнить, как произносятся слова.

— На планете Скарта, в лечебнице, госпожа, — ответил тихий голос сбоку, и в этом голосе было столько почтительности, столько осторожной, бережной мягкости, что захотелось повернуть голову, но шею прострелило тупой болью, и я осталась лежать, глядя в потолок,

который на этот раз был не серым и металлическим, а белым, матовым, мягким, и от этой мягкости глазам стало легче, и они приоткрылись чуть шире.

Госпожа? Скарта? Не Виаран. И меня определённо повысили в звании — из виа в гос-пожи, и это повышение звания звучит как издевательство, потому что происходит в тот момент, когда я лежу пластом, не могу пошевелиться, и единственное, что мне подвластно, — это моргать и хрипеть. Приключения продолжаются, и в этом «продолжаются» нет ни радости, ни предвкушения — только усталость, глубокая, костная, та, которая приходит не от тела, а от души, которая устала удивляться, устала бояться, устала адаптироваться к каждому новому повороту, как устаёт путник, который шёл слишком долго и видел слишком много, и каждый новый пейзаж вызывает не восторг, а тупую, безучастную мысль: «Ну, ещё. Что дальше». От столь стремительно меняющихся обстоятельств вокруг меня даже чувство страха притупилось — не исчезло, нет, оно на месте, но притупилось, как притупляется боль, которая длится слишком долго: мозг привыкает, адаптируется, включает защитный механизм, и страх из острого, колющего становится тупым, ноющим, фоновым, и ты живёшь с ним, как с хронической болезнью, которая не убивает, но не даёт забыть о себе.

— Почему мне так плохо? Всё болит, — хотела ещё воды попросить — горло было сухим, как наждачная бумага, и язык прилипал к нёбу, и каждое слово царапало горло, как когтями, — но провалилась в спасительную тьму. Не успев дожидаться ответа, и эта тьма на этот раз пришла как избавление — не как обморок, не как слабость, а как милосердие, как чья-то добрая рука, которая легла на глаза и сказала: «Спи. Пока спи. Потом — потом», и я послушалась, потому что сил спорить не было, и сил не спорить тоже не было, и сил вообще не было, и тьма приняла, и тьма укрыла, и тьма спрятала, и в ней — тихо, и в ней — покой, и в ней — ничего, и ничего — это именно то, что мне сейчас нужно.

ГЛАВА 7

Новое пробуждение было в разы лучше — не как возвращение к жизни, а как тихое, осторожное пробуждение после тяжёлой, но уже отступившей болезни: голова не болела, кости ломить перестало, и даже воздух в комнате казался чище, свежее, будто кто-то открыл окно и выгнал из палаты остатки вчерашнего кошмара. Осталась небольшая слабость — такая, какая бывает после долгой дороги, когда тело помнит тряску и холод, но уже готово двигаться дальше. Это я переживу, подумала я, и в этой мысли прозвучало не столько мужество, сколько упрямое, почти детское нежелание сдаваться.

Обвожу глазами помещение — и первое, что ударяет по глазам, это цвет. Ммм, да уж. Мечта Барби. Розовые стены — не нежно-персиковые, не пудровые, а именно розовые, яркие, почти кричащие, как сахарная вата, которую продают на ярмарках. Немного темнее оттенком — стол и кресла, будто кто-то решил приглушить крик, но не смог. Кровать, на которой я лежу, светло-розовая, в кружевах — столько рюш и оборок, что казалось, будто кровать сама хочет быть платьем. Бордовый пол и занавески на окне добавляли этому кукольному царству странный, почти театральный контраст, как если бы в детскую комнату случайно занесли мебель из старого будуара. Меня сейчас начнёт тошнить зефирками, мелькнула мысль, едкая и горькая на фоне всей этой приторной красоты. Кто живёт в этой ожившей сказочной мечте? Кто вообще может чувствовать себя спокойно среди такого обилия розового, будто мир решили перекрасить в цвет сахарной ваты?

Слышу шорох сбоку — не громкий, не резкий, а такой, какой бывает, когда человек старается двигаться бесшумно, но у него не получается, потому что пол всё равно отзывается, и ткань шуршит, и дыхание слышно, если прислушиваться. Перевожу взгляд. У изножья кровати стоит на коленях парень в потрёпанной одежде — ткань местами протёрта до тонкой, почти прозрачной сеточки, швы разошлись, края обтрёпаны, как будто одежда пережила не

один сезон. На шее — толстый шнурок, грубый, жёсткий, с узлами, которые врезаются в кожу. Плохое украшение. Лучше уж вообще ничего не надевал бы, чем такое уродство, пролетает мысль в голове, и от неё становится стыдно — не за то, что подумала, а за то, что вообще приходится думать о «украшениях» в таком контексте. Смотрит в пол, не поднимая глаз, и поза его — не расслабленная, не выжидательная, а собранная, напряжённая, как у зверя, который ждёт удара и готовится увернуться. Потерял что-то? Или просто боится поднять глаза, потому что знает: если поднимешь — увидишь то, чего не хочешь видеть?

— Ты что там делаешь? — от моего голоса парень вздрагивает, как от щелчка кнута, и на секунду замирает, будто пытается слиться с полом, стать частью узора на бордовом покрытии.

— Жду вашего пробуждения, госпожа, — произносит, не поднимая головы, и голос у него тихий, ровный, но в нём слышится напряжение, как в туго натянутой струне, которая вот-вот лопнет.

— Ну вот дождался. Что дальше? — усмехаюсь, и усмешка выходит не злой, а скорее растерянной, как будто я пытаюсь спрятать за ней непонимание: что мне делать с этим парнем, который стоит на коленях у моей кровати, будто так и надо? Забавный мальчишка, думаю я, но забавным он кажется только потому, что я не хочу видеть в нём раба.

— Могу доктора позвать, — говорит почти шёпотом, и в этом шёпоте столько осторожности, столько страха сделать не так, что внутри что-то сжимается.

— Ну, зови, — усмехаюсь снова, и на этот раз усмешка звучит твёрже, будто я сама себе говорю: «Держи лицо. Не показывай, что тебе не по себе».

Он срывается с места, словно на автобус опаздывает, и движения его — резкие, угловатые, как у человека, который привык двигаться быстро, чтобы не получить удар по спине. Через пару минут возвращается вместе с врачом. Мужчина в розовом халате подходит ко мне — халат тоже розовый, но чуть светлее, почти кремовый, и от этого контраста с бордовым полом и розовыми стенами становится ещё страннее, будто я попала не в лечебницу, а в кондитерскую, где даже врачи одеты как пирожные. Парнишка занимает ту же самую позу — снова на коленях, снова смотрит в пол, и от этой неподвижности, от этой абсолютной покорности становится не по себе, как будто тишина вокруг него стала гуще, плотнее, и в ней можно утонуть.

— Как вы себя чувствуете? — начинает осматривать меня врач, и в его движениях нет суеты, нет торопливости, а есть какая-то размеренная, почти ритуальная точность, как у человека, который делает одно и то же тысячу раз и знает каждый шаг наизусть.

— Спасибо, уже намного лучше, — улыбаюсь, и улыбка получается искренней, потому что тело действительно чувствует себя лучше, и это маленькое, но важное облегчение греет изнутри, как чашка горячего чая в холодный день.

— Что-нибудь беспокоит? — учтивый такой, сразу видно — не городская больница, а место, где к пациентам относятся не как к больным, а как к гостям, которых нужно не вылечить, а убажить, чтобы они остались довольны и не жаловались.

— Лёгкая слабость. А где я? — хочу прояснить этот момент, потому что розовый цвет стен всё ещё не даёт мне поверить, что я в лечебнице, а не в чьей-то гостиной, оформленной человеком с очень специфическим вкусом.

— На планете Скарта, в лечебнице, — повторяет то же, что я слышала ранее, и в его голосе нет ни удивления, ни нетерпения, будто он привык объяснять это снова и снова, как экскурсовод, который рассказывает одну и ту же историю тысячному посетителю.

— В лечебнице? А почему тут всё такое... розовое? — удивлена такой обстановкой в больнице, думала, нахожусь у кого-то в гостях, и розовый цвет казался тогда просто причудой хозяйки, а не официальной цветовой политикой медицинского учреждения.

— Для улады женских глаз, — отвечает с вежливой улыбкой, и улыбка эта — не тёплая, не искренняя, а отрепетированная, как маска, которую надевают, чтобы не обидеть клиента.

— Стесняюсь спросить, каких женщин это радует, — произнесла мысли вслух, и в голосе моём прозвучало не столько любопытство, сколько недоумение, горькое и колющее, как осколок стекла, который случайно нашёл в кармане.

— Женщин планеты Скарта, — отвечает он спокойно, без тени смущения, как будто объясняет, что небо синее, а трава зелёная, и спорить с этим бессмысленно. Странные женщины, однако, тут живут, думаю я, и от этой мысли становится не столько смешно, сколько тревожно: если для них розовый — это норма, то что ещё здесь считается нормальным, от чего у меня волосы встанут дыбом?

Повисла неловкая тишина — не пустая, не глухая, а наполненная тем напряжением, которое возникает, когда все понимают, что сказано что-то важное, но никто не знает, как на это реагировать. А меня всё больше смущало поведение паренька — его неподвижность, его покорность, его готовность в любой момент снова упасть на колени, как будто это самое естественное положение тела на этой планете.

— А он долго будет так стоять? — всё же решила спросить у врача шёпотом, потому что говорить громко казалось неправильным, будто я нарушаю какой-то неписанный этикет, где шёпот — это знак уважения, а громкий голос — вызов.

— Пока вы не прикажете другого, — вот это выдержка, думаю я, а врач ответил и бровью не повёл на странность происходящего, как будто объяснять, почему раб стоит на коленях, для него так же обычно, как рассказывать, как работает капельница.

— Я? Приказать?! — глянула на парня внимательнее, пытаюсь найти в нём хоть что-то знакомое, хоть намёк на то, что он не чужой. Может, один из мужей? Да нет, впервые вижу, и от этого осознания становится легче — он не связан с прошлой жизнью Валерины, он мой, только мой, и я не знаю, что с ним делать.

— Дело в том, что ваша капсула упала на территории поместья леди Онники. Она и направила вас в нашу лечебницу, а чтобы вам было легче на нашей планете, подарила одного из своих рабов, — говорит врач спокойно, буднично, как сообщает, что в палате есть чайник и чашки, и от этой будничности слова звучат ещё страшнее, потому что в них нет ни оправдания, ни извинений, только констатация факта: вот тебе человек, пользуйся.

— Кого подарила?! Мне не нужен раб! — тут я прифигела окончательно, переходя в сидячее положение, и каждое движение давалось с трудом, потому что слабость ещё держалась, цеплялась за мышцы, как мокрый плащ, который не хочется снимать. Две планеты! Я знаю уже две планеты, где отношение к мужчинам как к товару. Куда катится этот мир? Или уже скатился? — мысль эта ударила по сознанию, как холодный ветер по разгорячённому лицу, и от неё стало зябко, будто я стояла на краю обрыва и смотрела вниз, а там не было дна.

— Прошу, не отказывайтесь от меня, — подал голос раб, и голос его дрожал, как струна, по которой провели смычком слишком резко. Он пополз ко мне на коленях, и от этого движения внутри всё сжалось, а я некрасиво открыла рот, не зная, что сказать, как остановить это, как вернуть ему достоинство, которого его лишили. — Я буду делать всё, что прикажете, только не отказывайтесь от меня, умоляю, — сложил руки в умоляющем жесте и слёзно смотрит на меня, и в его глазах — не просто страх, а ужас перед тем, что ждёт его, если я скажу «нет».

С непониманием перевожу глаза на врача, ища в его лице хоть намёк на сочувствие, хоть тень сомнения, но лицо его остаётся спокойным, непроницаемым, как маска.

— По нашим законам, если вы откажетесь от него, его ждёт смерть, — спешит пояснить он, и в этих словах нет ни жестокости, ни удовольствия, а только сухая констатация, как в учебнике по биологии, где написано, что некоторые виды насекомых поедают своих партнёров после спаривания. — Отказываются только от плохих рабов, таких просто уничтожают, чтобы не тратить время и силы на их перевоспитание.

Всё! Полный нокаут. Мыслей ноль. Гулко сглатываю, и звук этот кажется оглушительно громким в тишине палаты, и киваю, потому что другого выхода не вижу, потому что не могу стать причиной чьей-то смерти, даже если сама не понимаю, как жить дальше.

— Хорошо, не буду. Я не знала. Я впервые на вашей планете, — говорю тихо, и голос мой звучит чужим, будто говорит кто-то другой, а я только слушаю. — Скажите, я могу платить деньгами Виарана?

— Да. У нас единая денежная единица на десяти союзных планетах, — ответил он, но поглядывая странно, как смотрят на человека, который не знает, что дважды два — четыре, и от этого взгляда становилось стыдно, будто я должна была знать всё с рождения. Наверное, я должна это знать, думаю я, и от этой мысли хочется спрятаться, стать маленькой, незаметной, исчезнуть.

— Я могу уйти? — пора делать отсюда ноги. И из клиники, и с планеты тоже. Сделала бы это, не задумываясь, если б знала, куда бежать.

— Если таково ваше желание, не имею права вас удерживать, — говорит он спокойно, и в этих словах — свобода, но свобода эта пахнет не свежестью, а пустотой, потому что бежать некуда, и каждый шаг будет вести в неизвестность.

Быстро встала и пошла на выход, и каждый шаг отдавался в теле лёгкой дрожью, напоминанием о том, что я ещё слаба, но идти нужно, потому что стоять на месте страшнее. Хочется убежать не только из лечебницы, но и с планеты, убежать туда, где нет розовых стен, нет рабов на коленях, нет законов, по которым человека можно подарить, как безделушку. Сделала бы это, не задумываясь, если б знала куда бежать. У дверей палаты остановилась и обернулась. Раб продолжал сидеть на месте, неподвижный, как статуя, и от этой покорности становилось не по себе. Почему не идёт за мной? Ждёт команды?

— Пойдём, — позвала, вздохнув, и вздох этот был не от усталости, а от тяжести, которая легла на плечи, тяжёлая, как мокрый плащ, и которую нельзя снять.

Вышли на улицу, и первый глоток свежего воздуха ударил по лёгким, как глоток ледяной воды в жаркий день. Огляделась — красиво. Дома не выше третьего этажа, аккуратные, с ровными фасадами, будто их вырезали из одного куска камня и только потом раскрасили. Дороги и тротуары покрыты чем-то очень ровным и прочным — поверхность гладкая, без трещин, без выбоин, и по ней приятно идти, потому что она не дрожит под ногами, не напоминает о том, что мир хрупок. Деревьев мало, но много клумб с цветами — яркие пятна на фоне серых и бежевых стен, как брызги краски на холсте. Везде чистота, хотя в округе нет ни одной урны. Какими законами они этого добились? Нам бы такие, думаю я, и мысль эта звучит странно, словно я всё ещё могу вернуться на Землю, словно там ещё есть место, куда можно вернуться, и правила, которые можно изменить. Временами мыслю так, словно могу вернуться на Землю, и от этой иллюзии становится горько, потому что Земля осталась где-то далеко, за миллионами километров и десятками миров, и вернуться туда — значит потерять всё, что я уже успела приобрести здесь, даже если это «всё» — только боль и непонимание.

Вскоре вышли на улицу магазинов. Это я её так обозвала — улица магазинов, потому что одноэтажные здания тянулись с двух сторон от широкого тротуара, по которому ходили люди, и витрины манили яркими вывесками, как ярмарочные палатки. По тротуару ходили люди — женщины в ярких, дорогих нарядах, с высоко поднятыми головами, и мужчины, и среди них сразу выделялись рабы: все одеты в старые, затёртые и рваные вещи, ткань истончилась до прозрачности в некоторых местах, швы расползлись, как старые раны. Они шли с опущенными головами или стояли на коленях, и только мужчины — ни одной рабыни я не увидела, и от этого становилось ещё страшнее, потому что это означало, что система работает чётко, безжалостно, и у неё есть свои правила, свои жертвы, и эти жертвы — мужчины. Моё сердце разрывалось от жалости, и хотелось крикнуть: «Что же вы творите, люди?!», но крик застрял в горле, потому

что кричать здесь было бесполезно, потому что никто бы не услышал, или услышали бы, но не поняли, или поняли бы, но решили, что это каприз гостыи, которая не знает местных обычаев.

Наконец мы дошли до магазина одежды. Только покупать уже расхотелось. Странная штука жизнь: могу купить себе всё, что понравится, а не то, что подешевле и попрacticalнее, как я привыкла на Земле, где каждый рубль был на счету, и выбор одежды был не удовольствием, а компромиссом между ценой и качеством. Только меня тошнит от всего и от этой планеты в частности, и от мысли, что я могу купить всё, но не могу купить свободу, не могу купить право не видеть, как люди стоят на коленях. Ходить и выбирать желания не было. Обратилась сразу к продавцу. Им оказался мужчина средних лет, с сединой на висках и небольшим животиком, который не скрывал, а носил с достоинством, как знак того, что жизнь у него сытая и спокойная.

— Нам нужно по два комплекта одежды: брюки и рубашки. Ещё обувь, — говорила коротко и по существу, потому что длинные объяснения здесь казались неуместными, как стихи на военном совете.

— Минуту, — ответил и убежал подбирать варианты, и движения его были торопливыми, но не суетливыми, а собранными, как у человека, который знает: чем быстрее обслужишь клиента, тем меньше шансов, что клиент разозлится. Спустя минут пять вернулся с вешалками. Два комплекта одежды тканью напоминали мешки из-под картошки — грубая, жёсткая ткань, которая, наверное, натирала кожу при каждом движении. Два других имели прозрачные блузы и широкие брюки-юбки, которые выглядели так, будто их придумали не для носки, а для показа, чтобы все видели, насколько хозяйка богата и насколько ей всё равно, что о ней подумают. Обувь и того хуже: одни — смесь галош с кирзовыми сапогами, тяжёлые, неуклюжие, в которых нога потеет через пять минут. Вторые — на высоком каблуке, в камнях и стразах, сверкающие, как новогодняя ёлка, и такие же неудобные.

— Это нам не подходит, — сказала спокойно, но в голосе прозвучала твёрдость, которую я сама не ожидала в себе услышать. — Виллу — брюки и рубашки из хорошей ткани. Обувь удобную и качественную. Мне — брюки узкие, можно даже обтягивающие. Рубашки плотные. Обувь без каблуков и лишней мишуры.

Мужчина кивнул и скрылся, и в этом кивке было не согласие, а покорность, как у человека, который знает, что спорить бесполезно, и лучше сделать, как велят, чтобы избежать неприятностей. В этот раз вернулся быстрее. Дрожащими руками протянул требуемое и проводил к примерочным комнатам. Да, тут все масштабнее. Как же мужчины боятся гнева женщин! Можно подумать, те, как паучихи, сожрут без суда и следствия. Остальные восемь планет живут так же? — мелькнула мысль, и от неё стало холодно, будто я увидела карту мира, где почти все страны окрашены в один и тот же цвет — цвет страха.

Всё подошло и понравилось, и от этого маленького, но важного совпадения — когда одежда сидит так, как должна сидеть, когда ткань не раздражает кожу, когда обувь не жмёт — внутри что-то расслабилось, как тугая пружина, которую наконец-то отпустили. По комплекту надели сразу, и новая ткань касалась кожи мягко, почти нежно, и от этого прикосновения становилось спокойнее, будто одежда стала доспехом, который защитит от чужих взглядов, от чужих правил, от чужой жестокости.

— Куда можно выкинуть старую одежду? — спросила Вилла, и вопрос этот прозвучал не как каприз, а как попытка вернуть хоть каплю нормальности в этот ненормальный мир.

— Оставьте в комнате. Хозяин сам уберёт, — мгновенно отозвался парень, и в его ответе не было ни удивления, ни недовольства, а только знание правил, которые он выучил наизусть, потому что от них зависела его жизнь.

— Хм... удобно, — пробормотала я, и в этом «удобно» прозвучало не столько удовлетворение, сколько растерянное признание: мир здесь устроен так, чтобы хозяйке не приходилось пачкать руки даже в мелочах. По дороге к стойке взяла дорожную сумку — тяжёлую, с плотными стенками и широкими ремнями, будто её делали не для путешествий, а для того,

чтобы в ней можно было укрыться от бури. — Остальные вещи упакуйте в сумку, пожалуйста, — попросила продавца, и голос мой прозвучал твёрже, чем я чувствовала себя внутри, — так бывает, когда стараешься казаться увереннее, чтобы не выдать дрожь в коленях.

Пока продавец упаковывал наши вещи, я разглядывала чёрный костюм за его спиной. Он висел на манекене, строгий, лаконичный, без лишних деталей — ткань плотная, матовая, будто поглощающая свет, и от этого костюм казался почти невидимым на фоне ярких витрин. Очень похожий на тот, в котором был Билтар. Тот самый, что подчёркивал его собранность, его готовность к действию, его принадлежность к миру, где решения принимаются быстро, а слова весят больше золота. Интересно, куда прилетела его капсула? Надеюсь, на Виаран. Мысль эта пришла тихо, как шёпот в пустой комнате, и зацепилась где-то в груди, не давая покоя: если он жив, если смог выбраться, если приземлился в знакомом месте — значит, не всё потеряно. Значит, где-то есть точка опоры, за которую можно ухватиться, когда земля уходит из-под ног.

Гуляя по магазинам, приобрела расчёску и разные мелочи — флакон с чем-то пахучим, маленькую щётку, пару лент, которые, наверное, никогда не надену, но взяла просто потому, что они лежали на полке, яркие, блестящие, как осколки другого, более спокойного мира. В булочной купили ароматные пирожки — горячие, с золотистой корочкой, от которой шёл пар, смешиваясь с запахом свежей выпечки и пряностей. Ели прямо на ходу, и каждый кусочек казался вкуснее, чем должен быть, потому что голод был не только физическим — он был голодом по чему-то простому, понятному, человеческому. Настроение стало улучшаться, и я поймала себя на том, что почти улыбаюсь, разглядывая витрину с безделушками. Может, я просто была голодна? И от этого такие перепады настроения — то паника, то внезапное спокойствие, то злость, то лёгкая, почти детская радость от пирожка, который пахнет домом, которого у меня больше нет.

Уловила странные свистящие звуки — не ветер, не пение птиц, не шум улицы, а что-то резкое, тонкое, режущее слух, как лезвие, которое проводят по воздуху. Звук этот был чужим среди городской суеты, он выделялся, как чёрная линия на белом листе, и от него по спине пробежал холодок, а волосы на затылке встали дыбом.

— Что это за звук? — поинтересовалась у Вилла, доедая пирожок, и даже вкус сладкого теста вдруг стал горьким, будто воздух вокруг пропитался чем-то неприятным, тяжёлым.

— Кнут, — получил односложный ответ, и от этого короткого, сухого слова внутри всё сжалось, как от удара.

— Тут продают лошадей? — заинтересовалась, пытаясь удержать в голове хоть что-то привычное, безобидное, то, что не заставляло сердце биться быстрее. Нет, покупать не собиралась, а посмотреть можно. В прошлой жизни не часто доводилось видеть лошадей вживую — только по праздникам, когда их приводили на площадь, украшенных лентами и колокольчиками, и на них катали детей, смеющихся, раскрасневшихся от ветра и счастья. На них смотрели как на чудо, как на что-то доброе и сильное, и от воспоминаний об этих праздниках становилось теплее, будто я на секунду вернулась туда, где всё было просто и понятно.

— Нет. Там воспитывают новых рабов, — указал головой в нужном направлении, и жест его был едва заметным, почти незаметным — только лёгкий наклон головы, но от него всё внутри похолодело, а мир на секунду будто потемнел, как если бы солнце закрыли тучей.

— Кнутом? — ужаснулась, и слово это прозвучало не как вопрос, а как стон, вырвавшийся сам собой, потому что мозг отказывался принимать эту реальность, пытался найти другое объяснение, более мягкое, более терпимое, но не находил.

— И кнутом тоже, — ответил Вилл, и в его голосе не было ни осуждения, ни оправдания, только констатация факта, как у человека, который привык видеть вещи такими, какие они есть, и давно перестал надеяться, что они станут другими. Сердце пропустило удар — тяжёлый, глухой, как камень, упавший в воду, от которого расходятся круги, и эти круги накрывают всё: мысли, чувства, воспоминания, надежды.

— Пойдём, — разворачиваюсь в нужную сторону, и ноги сами несут меня вперёд, хотя разум кричит, что это безумие, что нужно держаться подальше, что любопытство здесь — роскошь, которую нельзя себе позволить. Только я уже не слушала. Меня несла вперёд невидимая сила — не упрямство, не героизм, не жажда справедливости, а что-то более глубокое, почти инстинктивное, как зов крови, как эхо далёкого голоса, который шепчет: «Ты должна увидеть. Ты должна знать». Сердце ускоряло бег, и пульс стучал в висках, в горле, в кончиках пальцев, и этот стук заглушал все остальные звуки, даже шум улицы, даже голоса прохожих. Я чувствовала, что должна попасть туда. Не знаю зачем, но должна — как человек, который идёт к краю обрыва не для того, чтобы прыгнуть, а чтобы убедиться, что обрыв существует, что это не иллюзия, не кошмар, а реальность, с которой придётся считаться.

— Вам не стоит туда ходить, — предпринял попытку меня остановить, и в этих словах прозвучала не покорность, а настоящая тревога, та, что рождается не из страха наказания, а из страха за другого человека. Вилл шагнул вперёд, будто хотел загородить мне путь, и на секунду в нём проступило что-то живое, человеческое, не рабское — простое, искреннее желание убе-
речь.

Но я уже не слушала. Ноги несли меня вперёд, и каждый шаг отдавался внутри гулким эхом, как будто я шла не по улице, а по коридору, стены которого сжимаются, и нужно успеть пройти, пока они не сомкнулись окончательно. Ветер шевелил волосы, пахло выпечкой, цветами, пылью, и среди этих запахов всё сильнее чувствовался запах страха — тонкий, едва уловимый, но такой знакомый, что от него становилось горько во рту. Впереди, в конце улицы, виднелось здание — не такое нарядное, как магазины, не такое аккуратное, как дома, а приземистое, серое, с глухими стенами и узкими окнами, похожими на щели. И оттуда, из-за этих стен, снова донёсся свист кнута — резкий, хлесткий, разрывающий воздух, и от этого звука внутри всё сжималось, а перед глазами вставали картины, которых я не видела, но которые знала слишком хорошо: боль, унижение, сломанные судьбы, спрятанные за красивыми фасадами и розовыми стенами.

ГЛАВА 8

Заворачиваю за угол здания и попадаю во внутренний дворик — не тот, что увидела бы в городе с розовыми стенами и чистыми тротуарами, а другой, спрятанный, как рана под повязкой, и от этого ещё более страшный, потому что всё, что здесь происходило, происходило не на глазах у праздных прохожих, а в замкнутом пространстве глухих стен, которые поглощали звуки и не выпускали их наружу, как тюрьма не выпускает узников. Моим глазам открывается удручающая картина, и «удручающая» — слишком мягкое, слишком слабое слово для того, что я увидела, как «наводнение» — слишком мягкое слово для цунами. В центре двора установлен столб — грубый, деревянный, вросший в землю, как кол, который вбили не сегодня и не вчера, а давно, и от долгого использования поверхность его стала гладкой, отполированной чужими спинами, чужой кожей, чужой болью, и от этой полированной глади становилось тошно, потому что столб помнил слишком много, и каждое воспоминание впиталось в его волокна, как кровь в бинт. К нему привязан стоящий на коленях мужчина — верёвки врезаются в запястья так глубоко, что кожа посинела и натянулась, готовая лопнуть от напряжения, и руки висят безжизненно, как у сломанной куклы, которую кто-то бросил на пол и забыл подобрать. Рядом стоит с кнутом в руках огромный мужик, этакий русский кузнец — широкоплечий, с бычьей шеей и руками, которые выглядели так, будто ими удобнее ковать металл, а не людей, и от этого контраста — сила, направленная на унижение, мощь, потраченная на жестокость — внутри поднималось что-то горячее, густое, похожее на ярость, но более глубокое, более тёмное, потому что ярость — это эмоция, а это было что-то из тех глубин, где эмоции

уже заканчиваются и начинается что-то первобытное, звериное, то, что заставляет человека бросаться на сильнейшего, не считаясь с последствиями.

Медленно двигаюсь к ним, не сводя взгляда со здоровяка, и каждый шаг — как шаг по тонкому льду: осторожный, выверенный, с ощущением, что одно неверное движение — и провалишься, и ледяная вода сомкнётся над головой. Он смотрит в ответ, но других действий не предпринимает, и от этого спокойствия, от этой уверенной неподвижности становится ясно: он не боится, он не волнуется, он знает, что женщина не тронет мужчину, потому что таково правило, таков порядок, таков мир, и этот мир защищает его от меня так же, как защищал от всех остальных женщин, которые заходили в этот дворик и уходили, не моргнув глазом.

Останавливаюсь в шаге от столба. Сдерживаю эмоции насколько могу, и это усилие такое, что внутри всё натянулось, как барабанная мембрана, и ещё чуть-чуть — и лопнет, и звук будет такой, что разнесёт стены. На парне нет живого места — не «много ран», не «сильно избит», а именно нет живого места, и от этой констатации мозг на секунду отказывается обрабатывать информацию, как отказывается процессор обрабатывать файл, который слишком велик, слишком тяжёл, слишком невозможен для загрузки. Спина — сплошь кровавое месиво, и кожа превратилась в лоскуты, которые висели, как мокрая ткань на ветру, и между ними виднелось мясо — красное, сырое, блестящее, и от этого зрелища к горлу подступила тошнота, густая, тяжёлая, как ртуть, но я сглотнула и удержала её внутри, потому что слабость сейчас — непозволительная роскошь. Голова свесилась на плечо, говоря о том, что человек потерял сознание, и тело его висело на верёвках так, как висит тряпичная кукла, которую подвесили за руки и забыли, и от этой безжизненности, от этой абсолютной, полной покорности чужой боли становилось трудно дышать, потому что лёгкие будто сжались, отказываясь работать в присутствии такого страдания.

Наклоняюсь, с желанием заглянуть в лицо и застываю — не замираю, а именно застываю, как застывает вода в мороз, как застывает время в тот момент, когда реальность меняет направление и уже не возвращается к прежнему руслу. Его я узнала и по профилю — этот профиль я видела в стеклянном окошке спасательной капсулы, когда он закрывал крышку и нажимал что-то на браслете, и в его глазах горел зелёный свет, и в его голосе звучала забота, которую я не успела, не смогла, не посмела принять. Билтар! Имя это взорвалось внутри, как фейерверк, только не красивый, а болезненный, и от него по всему телу прошла волна — не тепла, не холода, а чего-то такого, от чего задрожали руки и участилось дыхание, и мир вокруг на секунду потерял чёткость, как будто линза, через которую я смотрела, покрылась трещинами.

Резко выпрямляюсь и поворачиваюсь к рабовладельцу, и поворот этот — не движение, а приговор, вынесенный телом раньше, чем разум успел сформулировать мысль.

— Сколько? — произношу холодно, и голос звучит так, будто из него вынули всё тёплое, всё человеческое, всё живое, и остался только лёд, гладкий, скользкий, от которого отскакивает любое слово.

— Он только прибыл. Ещё не прошёл обучение, — распыляется мужик, и от этого «распыляется» веет такой деловитой, такой будничной заинтересованностью, что внутри всё переворачивается, потому что он говорит о человеке, как о товаре, который ещё не прошёл предпродажную подготовку, и в его голосе нет ни стыда, ни вины, только деловая озабоченность, как у продавца, который боится, что покупатель уйдёт без покупки.

— Сколько?! — повышаю голос, добавив металла, и металл этот звенит в воздухе, как удар молота по наковальне, и от него здоровяк чуть отшатывается, не от страха — от удивления, потому что привык к другому: к покорным женщинам, которые торгуются вежливо, к покорным рабам, которые молчат, к покорному миру, который не задаёт вопросов. Я заберу его, чего бы мне это ни стоило. Билтар дважды спасал мою жизнь — в медицинском блоке корабля, когда я не знала, как пользоваться браслетом, и в капитанской рубке, когда обстрел превратил корабль в обломки, и он подхватил меня, как пушинку, и закинул в капсулу, и закрыл крышку,

и в его глазах горел зелёный свет, который я до сих пор вижу, когда закрываю глаза. Пришло время возвращать долги, и этот долг — не из тех, что можно оплатить деньгами; он из тех, что оплачиваются действием, решимостью, готовностью встать между человеком и болью.

— Он ещё не готов, — опять отнекивается этот... и от этого «не готов» хочется ударить — не рукой, словом, потому что слово может быть тяжелее кулака, если оно сказано правильно, в нужный момент, с нужной силой.

— Я не спрашивала, готов ли он! — моим голосом можно замораживать океаны, и я это слышу, слышу в собственном голосе ту силу, которую не знала в себе, ту сталь, которая появилась не из опыта, не из воспитания, а из чего-то более глубокого — из ярости, из боли, из того места, где живёт не человеческое, а звериное, то, что защищает своих, не считаясь с правилами и приличиями. — Я спросила — сколько? Я заберу его сию же минуту! Это не обсуждается! И включите в счёт транспорт и пару помощников. Так как ваши действия привели к тому, что он не может передвигаться сам! Даю вам пять минут! Не уложите — заберу, ни копейки не заплатив, и от этих слов воздух стал гуще, тяжелее, как будто температура в дворике упала на несколько градусов, и здоровяк это почувствовал — не понял, а именно почувствовал, как чувствуют смену погоды перед грозой, когда ветер меняет направление и небо темнеет.

Отошла в сторону, пытаюсь совладать с эмоциями. Руки мелко подрагивали, и дрожь эта была не от страха, а от адреналина, который заливал тело, как горячая вода, и от него горели щёки, и пульс стучал в висках, и зубы стискивались так, что болела челюсть. Вот и посмотрим, насколько женщины здесь всемогущи, подумала я, и в этой мысли было не любопытство, а вызов — тихий, внутренний, обращённый не к рабовладельцу, а к самому миру, к его законам, к его правилам, которые я не принимала, не понимала и не собиралась соблюдать. Вилл стоит рядом, но упорно пытается стать невидимкой — втягивает голову в плечи, опускает глаза, прижимается к стене, как будто хочет просочиться сквозь камень и оказаться по другую сторону, где нет кнутов, нет крови, нет женщин, которые покупают людей. Похоже, считает, что могу сорвать свою злость на нём. Глупый. Как можно спасти одного и тут же калечить другого? — и от этой мысли внутри что-то дрогнуло, потому что именно так устроен этот мир: он калечит всех, и тех, кого бьют, и тех, кто бьёт, и тех, кто смотрит, и тех, кто отворачивается, и нет в нём чистых рук, и нет невиновных, и нет тех, кто вышел бы из него целым.

Через пять минут мы ехали в машине — что-то между каретой и кабриолетом, с открытым верхом, мягкими сиденьями и тихим, почти бесшумным ходом, который ощущался не как движение, а как скольжение, как будто транспорт не катился по дороге, а плыл над ней, и от этого плавного, ровного хода тело Билтара, лежавшего на заднем сиденье, не тряслось, и за это я была благодарна водителю, хотя не знала его имени и не собиралась узнавать. Странная внешне — вытянутая, с плавными, закруглёнными формами, без колёс в привычном понимании, без лошадей, без всего того, что я привыкла ассоциировать с транспортом, — но она везла нас, и это было главным. Вилл подсказал адрес гостиницы — здесь её называли «временный дом», и название это звучало мягко, почти по-домашнему, как будто гостиница не сдавала комнаты, а приглашала пожить, и от этого названия внутри что-то ёкнуло, потому что «дом» — это слово, которое я ещё не успела наполнить новым содержанием, и пока оно звучало пусто, как пустая коробка, из которой вынули подарок и забыли положить обратно.

По приезду события закрутились неимоверно быстро — как карусель, которую раскрутили до предела, и каждое действие мелькало перед глазами, не успевая сложиться в цельную картину: попросила помощников подождать в машине, пока бронировала двухкомнатный номер; номер оказался большим — две комнаты и гостиная, с окнами, выходящими на улицу, и от этих окон лился мягкий, тёплый свет, который делал пространство почти уютным, почти настоящим, почти таким, в котором можно было бы жить, если бы не всё остальное. Билтара положили в отдельную комнату — аккуратно, на широкую кровать, и тело его лежало неподвижно, как тело человека, который не просто спит, а отсутствует, и от этого отсутствия ста-

новилося тревожно, потому что там, где нет движения, нет и уверенности, что оно вернётся. Вызвали врача в номер. Отправила Вилла в тот магазинчик, где мы были днём, и попросила приобрести для Билтара два комплекта вещей. Вспомнила о костюме — чёрном, строгом, похожем на тот, в котором Билтар ворвался в мою каюту, — и наказала выкупить, если он ещё продаётся, потому что этот костюм — часть его, часть его жизни, часть того, кем он был до того, как оказался привязан к столбу, и я хотела вернуть ему хотя бы это. Заказала ужин в номер на троих, и «на троих» прозвучало странно, потому что троих пока не было — был один без сознания, один испуганный и одна уставшая женщина, которая не знала, что делает, но делала, потому что остановиться означало сдаться, а сдаваться я не умела.

Пришёл врач. Показала пациента. Он смерил меня таким презрительным взглядом — не злым, не враждебным, а именно презрительным, скользким, как масло на воде, — что сразу захотелось помыться, как будто этот взгляд оставил на коже след, грязный, липкий, от которого не отмоешься никакой водой. И в этом взгляде читалось всё: и «зачем ты его купила», и «зачем ты его лечишь», и «какая тебе разница», и «женщина, которая тратит деньги на раба — либо глупая, либо ненормальная», и от каждого из этих несказанных слов становилось всё тяжелее, потому что они были несправедливы, но я не могла их оспорить, потому что в его мире они были правдой.

— Что?! Я его таким купила полчаса назад! — не выдержала степени презрения, и голос прозвучал резче, чем хотелось, но сдерживаться уже не было сил, потому что сдерживаться — значит молчать, а молчать — значит согласиться, а согласиться с тем, что человека можно не лечить, потому что он раб, — значит стать частью этого мира, а я не хотела, не хочу и не буду. — Поставьте его на ноги. Плачу любые деньги за лечение и лекарства, — и в этих словах было не столько богатство, сколько отчаяние, потому что деньги здесь были, а вот уверенности, что Билтар выживет, не было, и от этого несоответствия внутри всё ныло, как рана, которую нельзя обработать, потому что не знаешь чем. Не дожидаясь ответа вышла в гостиную, и дверь за спиной закрылась с тихим щелчком, отрезав меня от комнаты, от Билтара, от врача, от всего того, что я не могла контролировать, и от этого стало одновременно легче и тревожнее — легче, потому что не вижу, тревожнее, потому что не знаю.

Сидела на диване и нервно теребила рубашку — пальцы сами находили край ткани и мяли его, складывали, разглаживали, снова мяли, и это монотонное, бессмыслительное движение было единственным, что я могла делать, пока внутри бушевала буря, от которой некуда было спрятаться. В таком взвинченном состоянии меня и застал вернувшийся Вилл — он вошёл тихо, как входят в комнату, где спит больной, и от этой его тихости стало стыдно, потому что его тихость была не уважением, а привычкой, выработанной годами жизни с теми, для которых громкий голос — инструмент, а тихий шаг — средство выживания.

— Я всё купил, и костюм тоже, — отчитался, ставя рядом со мной сумку, и голос его звучал ровно, без интонации, как у человека, который давно научился произносить слова, не вкладывая в них ничего, потому что всё, что он вкладывал, раньше использовалось против него.

— Отнеси, пожалуйста, к Билтару в комнату и поставь на видное место. Чтобы, когда очнётся, смог найти одежду. Потом если хочешь, можешь поесть. Ужин на столе, — и каждое слово я произносила медленно, осторожно, как кладут перевязочный материал на рану: аккуратно, бережно, стараясь не сделать больно, потому что после дня, проведённого вместе, я уже знала, что Вилл воспринимает каждое слово как потенциальный удар, и от этой его готовности к удару хотелось кричать, но я не кричала, а говорила мягко, как мягко говорят с испуганным зверем, который ещё не знает, что его не ударят.

Ушла в свои мысли — глубокие, мутные, как вода в болоте, в которой не видно дна и не разбираешь направления. Мне одной не справиться. Нужен человек, который помогал бы мне и направлял, потому что я мало знаю о реалиях жизни этих планет, а незнание здесь — не

слабость, а смертельная опасность, как для моряка, который не знает течений и потому плывёт наугад, и каждый рейс может стать последним. Я мало знаю о реалиях жизни этих планет. Кому я могу доверять полностью? Билтар? Несмотря на притяжение, он военный и неизвестно, что победит — притяжение или долг, потому что долг — это цепь, а притяжение — это пламя, и что сильнее, я не знаю, и не узнаю, пока не увижу его глаза, когда он откроет их и посмотрит на меня, и в этом взгляде будет либо зелёный свет, либо что-то другое, и от этого «чего-то другого» внутри становится холодно. Мужья? Я их вообще не видела ещё и неизвестно когда увижу, и от этого «неизвестно когда» тянет в себя, как воронка, и в ней кружатся лица — Чар, Рик, Шамир, — лица, которые я видела на фотографиях в браслете, плоские, неживые, и что будет, когда они станут объёмными, живыми, настоящими, и от них пахнёт не фотографией, а кожей, и дыханием, и жизнью — я не знала и боялась. Два нападения на корабли, на которых я летела, говорят о многом. Кто-то очень не хочет моего возвращения, и этот «кто-то» — не абстракция, не фигура речи, а конкретный враг, с лицом, с планом, с ресурсами, и от этого осознания становится не по себе, потому что враг невидим, а я — на виду, и эта асимметрия опасна, как игра в шахматы, где противник видит твои фигуры, а ты его — нет. Ещё неизвестны отношения между ними и Валериной, и «неизвестны» — это слабо сказано, потому что я не знаю, любили ли они её, боялись ли, ненавидели ли, и от этого незнания каждое будущее слово, каждый будущий жест — как шаг по минному полю, где один неверный шаг — и всё. Остается Вилл. Хороший, тихий, спокойный парень. Неразговорчивый, что, несомненно, плюс, потому что болтливый — это свидетель, а свидетель — это риск. Долго жил под гнётом, и от этого гнёта в нём осталось что-то надломленное, тонкое, как ветка, которую гнули слишком долго и которая уже не выпрямится, но не сломалась, и в этой негибкости — своя сила, тихая, незаметная, как сила травы, которая пробивает асфальт. Думаю, будет счастлив иметь тихую, спокойную жизнь вдали от рабства, и от этой мысли внутри стало теплее, потому что если я могу дать хотя бы одному человеку спокойную жизнь, то не всё зря, не всё впустую, не всё бессмысленно. Надо с ним поговорить. Узнать его получше и...

— Что из этого для меня? — Вилл разглядывал расставленные на столе тарелки, и в голосе его звучало не столько голод, сколько опасение, как у бездомной собаки, которая нашла еду, но не уверена, что ей позволено её взять, и стоит, виляя хвостом, но не приближается, потому что знает: еда может быть ловушкой.

— Всё что захочешь, — подошла и села за стол. Придвинула первую попавшуюся тарелку. Аппетита не было — в животе всё сжалось в тугую, ноющую комку, который не принимал пищу, а просто существовал, как камень, который лежит в желудке и напоминает о себе каждым движением. Вяло ковырялась, пытаюсь запихнуть в себя хоть что-то, потому что тело нуждалось в пище, даже если душа отвергала её, и каждый кусок казался безвкусным, пресным, как картон, который жуёшь не ради вкуса, а ради того, чтобы не упасть.

— Ты куда? — парень взял тарелку с жареным мясом и картофелем, собираясь отойти от стола, и от этого движения — взять и уйти, как будто так и надо, как будто он не достоин сидеть за одним столом с женщиной — внутри что-то дёрнулось, как дёргается рана, когда задеваешь край бинта.

— На диван, — смотрит так, словно я спросила какую-то чушь, и в этом взгляде — не дерзость, не вызов, а искреннее, глубокое непонимание, потому что в его мире раб не садится за стол с госпожой, как в моём мире рыба не летает, и всё, что нарушает этот порядок, кажется не правилом, а ошибкой, которую нужно исправить, пока она не привела к неприятностям.

— Садись за стол, — указала вилкой на противоположный стул, и голос прозвучал не как приказ, а как приглашение, но Вилл вздрогнул, как от удара, и от этого вздрагивания внутри всё сжалось, потому что каждое моё слово он воспринимал как возможную угрозу, и от этого хотелось плакать, но я не плакала, а сидела и смотрела, как он медленно, осторожно, с опаской человека, который садится на стул, а не на бомбу, опускается на самый краешек.

— Рабу не положено есть за столом с госпожой, — растерялся он, и в этой растерянности было столько боли, столько привычного, выученного, впитанного унижения, что от него физически заболело сердце — тупой, ноющей, тягучей болью, которая не отпускала, а держала, как рука, сжимающая грудную клетку.

— Во-первых, я не госпожа, а просто Рина. Во-вторых, кто сказал, что нельзя, если я сама тебя приглашаю, — и каждое слово произносила медленно, чётко, как объясняют ребёнку, что огонь не кусается, если не трогать, что собака не злая, если не дразнить, что стул — это просто стул, и на нём можно сидеть, и никто не накажет, и никто не ударит, и никто не скажет, что ты забыл своё место, потому что твоё место — там, где ты хочешь быть, а не там, где тебе приказали.

Поставил тарелку, сел на самый краешек стула и стал медленно есть, затравленно смотря на меня, и от этого взгляда — затравленного, настороженного, готового в любой момент вскочить и убежать, как зверь, который ест, но не доверяет, и каждый кусок проглатывает с оглядкой — внутри что-то надломилось, не с треском, а тихо, как надламывается тонкая ветка под снегом: сначала чуть, потом сильнее, и потом — либо выдержит, либо нет.

— Чего ты так боишься? — всё же не выдержала я, и голос прозвучал не раздражённо, а устало, потому что усталость накапливалась не в теле, а в душе, и от неё тяжело было не только двигаться, но и говорить, и смотреть, и чувствовать. — Ты рядом со мной целый день. Неужели ещё не понял, что я не такая, как ваши женщины? Я не собираюсь тебя бить, морить голодом или как-то унижать. Я далека от рабства. Мне не нужны рабы. А вот преданный друг мне бы не помешал. Готов быть моим другом? — Вилл даже есть перестал, так и уставился на меня с открытым ртом, и лицо его застыло в таком искреннем, таком глубоком, таком абсолютном удивлении, что казалось, будто я сказала нечто невозможное, нечто, что не вписывается в его картину мира, как не вписывается снег в лето, и от этого удивления внутри стало одновременно больно и тепло — больно, потому что дружба для него — настолько чуждое понятие, что он не может его принять, и тепло, потому что он всё-таки слушает, не отвернулся, не убежал, а сидит и смотрит, и в его глазах, помимо удивления, есть что-то ещё — крошечный, едва заметный, как росток сквозь трещину в асфальте, огонёк надежды.

— Вы этого, правда, хотите? — спросил с затаённой надеждой, и голос его дрогнул, как дрожит струна, которую тронули пальцем, и от этой дрожи внутри всё перевернулось, потому что «правда хотите» — это не вопрос, а мольба, последняя, отчаянная, как у человека, который уже не верит, что бывает по-другому, но всё-таки спрашивает, потому что перестать верить и перестать спрашивать — не одно и то же.

— Правда. Мне очень нужна помощь в элементарных вещах. А ближе тебя у меня пока никого нет, — развела руки в стороны, и этот жест — открытый, незащищенный, как распахнутая дверь, за которой видна пустая комната — был честнее любых слов, потому что в нём не было позы, не было расчёта, не было ничего, кроме простой, голой правды: я одна, мне страшно, и мне нужен кто-то, кому я могу доверять.

— Как это? — такое неподдельное удивление раньше не видела, и от него стало тепло и горько одновременно — тепло, потому что удивление это было чистым, детским, не испорченным, и горько, потому что даже удивление чистотой другого человека вызывает у него шок, и это говорит о том, как мало чистоты было в его жизни, как мало доброты, как мало простого, человеческого тепла, которое не требует ничего взамен.

Из комнаты Билтара вышел врач, пришлось прервать разговор. Он окинул нас удивленным взглядом — раб и госпожа за одним столом, и от этого зрелища его профессиональная маска дала трещину, через которую проступило не столько осуждение, сколько растерянность, как у человека, который увидел, что солнце встаёт на западе, и не знает, как на это реагировать. Встала и подошла к нему, и каждое движение давалось с усилием, потому что тело затекло от нервного напряжения, и мышцы ныли, как после долгого бега.

— Я сделал всё, что смог. Напоил заживляющими и болеутоляющими средствами. Обработал раны. Дал снотворное. Он проспит до утра. Вот мазь, — протянул баночку, заканчивая отчёт, и баночка была маленькой, невзрачной, и от того, что вся надежда на Билтара помещалась в эту баночку, стало тревожно, потому что слишком хрупкое — это не надёжное, и слишком маленькое — это не гарантия. — Нужно нанести завтра утром и вечером. К следующему утру всё пройдёт, и в этом «всё пройдёт» было столько спокойной, профессиональной уверенности, что внутри что-то расслабилось, не отпустило, а именно расслабилось, как расслабляются пальцы, которые долго сжимали верёвку и наконец нашли, за что ухватиться покрепче.

— Спасибо большое. Сколько я вам должна? — вежливо улыбаюсь, и улыбка эта — не тёплая, а формальная, как рукопожатие, которое означает не приязнь, а завершение сделки, и в данном случае эта формальность была уместна, потому что врач сделал свою работу, и я была ему за это благодарна, но благодарность — это не дружба, и расстояние между нами нужно было сохранить, потому что слишком много людей уже знали о Билтаре, и каждый лишний — это риск.

— Всю подробную информацию я отправил вам на браслет, включая сумму оплаты и счёт для перевода, — уже гораздо вежливее говорил врач, и перемена в тоне была заметна — как будто оплата, которую я обещала без колебаний, перевела меня из категории «странная женщина, которая лечит рабов» в категорию «солидная клиентка, с которой стоит считаться», и от этой перемены стало кисло, потому что деньги решали здесь всё, даже отношение, даже вежливость, даже взгляд.

— Хорошо. Сейчас же всё оплачу, — заверила я, и в этом «сейчас же» было не столько рвение, сколько желание закрыть вопрос, отделаться, убрать врача за дверь и вернуться к Виллу, к нашему прерванному разговору, к тому огоньку надежды, который загорелся в его глазах, и который я боялась спугнуть, как боялся спугнуть птицу, которая впервые села на руку.

Закрыла за ним дверь и вернулась за стол. С Виллом мы проговорили до поздней ночи — не болтали, не перебирали мелочи, а говорили, как говорят два человека, которые вдруг обнаружили, что могут говорить друг с другом без страха, и от этого открытия слова лились свободно, как вода из-под открытого крана, и не было в них ни напряжения, ни игры, ни расчёта — только правда, голая, простая, как хлеб, и от неё было так же сытно. Я рассказала всю правду о себе — о Земле, о муже, о предательстве, о сыне, о том, как очнулась в чужом теле, о космосе, о корабле, об обстреле, о Билтаре, и каждое слово было как камень, который я снимала с груди и клала на стол, и от каждого камня становилось легче, и дышалось свободнее, и мир уже не давил так тяжело. Попросила сохранить мой секрет, и Вилл кивнул, не раздумывая, и в этом кивке было столько серьёзности, столько взрослой, глубокой ответственности, что становилось ясно: он не ребёнок, он человек, который выстрадал своё взросление, и потому умеет держать слово так, как не умеют те, для кого слово — пустяк. Он поведал о планете и всё, что знал про Виаран, — историю, законы, обычаи, и от каждого рассказа мир становился объёмнее, детальнее, как картинка, которую медленно проявляют из белой бумаги, и сначала видны только контуры, а потом — детали, и потом — тона, и потом — тени, и в конце ты видишь не рисунок, а мир, в который можно войти. Помог заказать три каюты на пассажирский космический корабль до Виарана. Вылет завтра вечером, и от этих слов внутри что-то сдвинулось, заскрипело, как механизм, который начали заводить, — значит, завтра, значит, есть план, значит, есть направление, и от этого направления стало не столько спокойно, сколько собранно, как перед дальней дорогой, когда знаешь, куда идёшь, но не знаешь, что найдёшь.

Рассказал свою историю. Всё до банального просто — и от этой простоты больно, потому что простая история несчастья страшнее сложной, в сложной есть хотя бы интрига, повороты, а в простой — только прямая линия от нормальной жизни к несчастью, без вины, без причины, без смысла. Родители погибли, когда ему было десять. Содержать себя, естественно, не мог. Других родственников не было. Приютов и детских домов здесь не имелось, и от этого «не

имелось» веяло такой холодной, такой равнодушной жестокостью, что внутри всё сжималось, потому что общество, которое не заботится о детях, — это общество, которое уже решило, что дети — это товар, и товар не воспитывают, а продают. Поэтому дом забрали, а его отдали в рабство. Следующие десять лет был рабом. Сменил две хозяйки, я третья. Первая была женщиной преклонного возраста и относилась к нему более-менее нормально — «более-менее нормально» в устах раба звучит как «менее ужасно, чем могло бы быть», и от этой формулировки сердце сжимается, потому что даже «нормально» здесь — это ненормально, и даже добрая хозяйка — это всё-таки хозяйка, а он — всё-таки раб. После её кончины попал к Онники. Тут стало трудно — и слово «трудно» в его устах звучало не как жалоба, а как констатация, тихая, сухая, как отчёт о погоде, в котором нет эмоций, только факты: ветер, осадки, температура. Била, морила голодом, заставляла много работать. У голодного сил было мало, за это получал плетью. В наказание за плохо сделанную работу — и в этом круге, в этой замкнутой, безжалостной спирали: мало ест — мало сил — плохо работает — получает плетью — ещё меньше сил — ещё хуже работает — ещё больше плетей, — было столько безысходности, что хотелось кричать, но Вилл не кричал, а рассказывал ровно, без слёз, без дрожи в голосе, и от этого ровного, бесстрастного тона было в тысячу раз больше, чем от любых слёз, потому что слёзы — это ещё реакция, а ровность — это привычка, а привычка к боли — это самое страшное, что может случиться с человеком. Печальная история. Рада, что смогу сделать его жизнь лучше, и в этой радости было не самоутверждение, не мессианство, а простое, тёплое, человеческое желание — хоть кому-то на этой проклятой планете стать не «госпожой», а просто другом, просто человеком, который рядом.

Когда спать уже хотелось особенно сильно, и глаза слипались, и каждое слово давалось с трудом, как шаг по глубокому снегу, мы всё же распрощались. Я ушла спать во вторую комнату, а Вилл остался в гостиной. Заверил, что прекрасно поспит на диване, и в этом «прекрасно» было столько привычки спать не там, где удобно, а там, где позволено, что от него снова стало горько, но спорить сил не было, и тело, измученное перегрузками, болью, страхом и адреналином, требовало своего, и отказать ему уже не было ни сил, ни смысла. Заснула, как только голова коснулась подушки — мгновенно, целиком, без перехода, без тех минут, когда лежишь и прокручиваешь в голове события дня, без бессонницы, без тревожных мыслей — просто свет выключился, и темнота приняла, мягкая, тёплая, безусловная, как объятие, которого я давно не получала, и в этой темноте не было ни снов, ни кошмаров, ни образов — только тишина, глубокая, абсолютная, и в ней — покой, первый покой за всё время моей новой жизни.

ГЛАВА 9

Билтар Орд.

Я военный виаранец. Ещё с детства решил посвятить свою жизнь военному делу — не потому что романтика, не потому что аура космоса манила мерцанием далёких звёзд, а потому что военная служба была единственной дорогой, на которой мужчина оставался мужчиной, где подчинение строилось не на унижении, а на дисциплине, не на страхе перед женщиной, а на долге перед планетой. Смотрел на мать и отцов и понимал: не хочу жить так, как они. Вечно пресмыкаться — не перед сильным, нет, а перед той, что слабее, и от этого пресмыкательства тошнило сильнее, потому что преклонять колени перед сильным хоть унижительно, но понятно, а перед слабым — унижительно и бессмысленно, и в этом бессмыслении — самая глубокая, самая гниlostная форма унижения, какая только существует. Бояться сказать лишнее слово — и не то что слово, а даже взгляд, потому что взгляд может быть истолкован, прочитан, развёрнут и обращён против тебя, как оружие, которое ты сам вложил в руки врагу. Бегать перед женщиной и выполнять все её капризы, и слово «капризы» здесь — слишком мягкое, слиш-

ком безобидное, как «дождик» вместо «ливень», потому что каприз может быть чем угодно: от приказа встать на колени до требования поцеловать туфлю, от запрета выходить из дома до требования благодарить за каждый кусок еды, как будто еда — не право, а милостыня.

Всю жизнь задавался вопросом: разве им не противно от самих себя? Как можно настолько не уважать себя и не иметь хоть каплю гордости? Неужели притяжение настолько стирает все границы — не сглаживает, не притупляет, а именно стирает, как ластик стирает карандашную линию, и от человека остаётся чистый лист, на котором можно писать что угодно, и он примет, потому что лист не сопротивляется, лист не имеет мнения, лист — это просто поверхность, ждущая, пока на ней что-нибудь напишут. Если так, то не хочу встретить ту единственную, ради которой стану раболепно выполнять все капризы. Не смогу сносить все унижения, потому что унижение для меня — не просто боль, а смерть при жизни, и лучше умереть раз, чем умирать каждый день по тысяче раз. Лучше уж проведу жизнь в одиночестве — и слово «одиночество» в моих устах звучало не как жалоба, а как выбор, твёрдый, осознанный, выстраданный, как выбор человека, который стоит перед развилкой и видит, что одна дорога ведёт в рабство, а другая — в пустоту, и выбирает пустоту, потому что пустота хотя бы честна.

Вырос, поступил в военную академию и после выпуска отправился бороздить просторы космоса. За свои сто лет повидал многое — столько, что хватило бы на десять обычных жизней, и всё равно каждый новый мир, каждая новая система, каждый новый рубеж оставляли после себя ощущение, что ты видел лишь крошечный фрагмент мозаики, и остальные фрагменты разбросаны по галактике, и собрать их все не хватит ни времени, ни сил, ни жизни. Был в серьёзных военных миссиях — тех, после которых возвращаешься другим, не потому что изменился, а потому что часть тебя осталась там, в космосе, в огне, в тишине, которая наступает после взрыва, и эту часть уже не вернуть, не восстановить, не вырастить заново, как не вырастить отрубленную ветвь. Несколько раз чудом оставался в живых, и «чудом» — не фигура речи, а именно чудо, потому что везение и статистика не объясняют, почему ты выжил, а двое из твоего отряда — нет, и это «почему» потом преследует тебя дольше, чем любые раны, потому что раны заживают, а вопросы — нет. Избегал женщин нашей планеты, но имел дело с другими — не из похоти, не от одиночества, а от потребности в общении, где ты — не слуга, не раб, не тень, а человек, равный, полноценный, с правом на слово, на взгляд, на мнение. Из дружественных планет есть парочка, где царит равноправие — и слово «равноправие» звучало для меня как музыка, как колыбельная, которую поют тем, кто ещё не родился, обещая им мир, в котором не нужно будет выбирать между одиночеством и рабством. Вот там я бы хотел жить. Пару раз собирался переселиться, и каждый раз чемодан стоял у двери, и документы лежали на столе, и решение было принято, и оставалось только переступить порог — но постоянно что-то мешало. В основном это срочные военные миссии, и каждая миссия — как якорь, который держит, не пускает, обещает: вот выполнишь это задание, вернёшься, и тогда — тогда обязательно, клянусь, в следующий раз точно. Но «следующий раз» — это самая старая ложь, которую человек говорит самому себе, и ложь эта работает каждый раз, потому что верить в неё проще, чем признать, что не переселиться — тоже выбор, и выбор этот означает, что что-то держит, что-то не отпускает, и это «что-то» — не долг, а страх, глубокий, тёмный, прячущийся за маской чести и ответственности.

И вот возвращаясь с очередного задания — усталый, но довольный, с тем тихим, ровным удовлетворением, которое приходит после работы, сделанной хорошо, — перехватили сигнал бедствия. Сигнал шёл с такой частотой и такой силой, что браслет завибрировал на запястье, как живое существо, испуганное не меньше тех, кто его посылал. Были ближе всех и поспешили на выручку — не раздумывая, не взвешивая, потому что сигнал бедствия — это не информация, а зов, и на зов не отвечают, а откликаются, всем телом, всем кораблём, всем экипажем. Это оказался личный малый манёвренный корабль Валерины Рейн. На него напали пираты. Очень странная ситуация, учитывая, что не так давно при таких же обстоятельствах погибла её

мать — и совпадение это было настолько точным, настолько хирургическим, что слово «совпадение» здесь не работало, как не работает зонтик против цунами. Оставив дочери огромное состояние и прибыльные предприятия — и от этой щедрости покойной веяло чем-то таким, что заставляло задуматься: не откуп ли это, не искупление ли, не последняя ли воля человека, который знал, что жить осталось немного, и потому раздавал, как раздают долг, торопясь, пока кредитор не пришёл.

Очень похоже на заказ. Пираты если и нападают, то забирают корабли — это их товар, их капитал, их смысл, и уничтожить корабль — всё равно что сжечь деньги, на которые соби-рался купить еду. Людей продают в рабство на планеты, где оно разрешено, и от этого рабство живёт, дышит, разрастается, как раковая опухоль, которая питается чужой свободой. За бога-тых просят огромные выкупы, и выкуп этот — прибыль, чистая, ясная, как солнечный день. А тут — просто методичное истребление: не грабёж, не захват, а именно истребление, мето-дичное, хладнокровное, как хирургическое удаление, где цель — не орган, а пациент целиком. Думаю, кому-то семья Валерины перешла дорогу, и эта «дорога» — не метафора, а конкрет-ный интерес, конкретный бизнес, конкретные деньги, и от этого интереса зависели жизни, и жизни были потрачены, как монеты, без жалости, без сожаления, без мысли о том, что монета — это человек.

Запросил все данные по ней, пока Кеннет боролся за её жизнь. Мы были уверены, что девушка умерла — не предполагали, не боялись, а именно были уверены, с той ледяной, про-фессиональной уверенностью, которая приходит, когда видел смерть достаточно раз, чтобы отличать её от жизни по первому взгляду, по первому касанию, по первой тишине, которая наступает там, где раньше был пульс. Укладывая в медкапсулу, приборы не считывали биение сердца около десяти секунд — десять секунд, каждая из которых тянулась, как час, и в этих десяти секундах помещалось всё: и мысль «поздно», и мысль «надо было быстрее», и мысль «почему мы», и мысль «доложить командованию», и последняя — «просто подождать, ещё секунду, ещё одну, может быть». Потом сердечный ритм возобновился — слабый, неровный, как шаг раненого, который ещё не знает, что выжил, но уже пытается идти, — и мы выдохнули с облегчением, и этот выдох был таким долгим, таким глубоким, что казалось, будто мы задер-живали дыхание все десять секунд, и не заметили этого, потому что тело задержало дыхание за нас, автоматически, как задерживает его перед ударом. Двое суток заняло её полное восста-новление — двое суток, в течение которых я жил в странном, подвешенном состоянии, как спутник на орбите, который ждёт сигнала: продолжать движение или менять траекторию.

За это время я успел изучить её биографию со всех сторон — не из любопытства, а из необходимости, потому что спасённый человек — это не просто груз, а обязательство, и чем лучше ты знаешь груз, тем понятнее, как его доставить, не разбив. Капризная и взбалмош-ная стерва — самая подходящая формулировка характера этой особы, и формулировка эта родилась не из злости, а из усталости, потому что после прочтения десятков страниц, про-смotra сотен роликов и анализа дюжины свидетелей все слова сливались в одно, и слово это — «стерва», и от него уже не отмыться, не отговориться, не оправдаться. В свои двадцать ведёт себя похуже многих взрослых женщин, поживших и пресытившихся всеми возможными развлечениями, — и «пресытившихся» здесь ключевое, потому что у взрослых хотя бы есть оправдание: они попробовали всё, им скучно, им некуда больше идти. А у этой — вся жизнь впереди, и она уже пресытилась, уже скучает, уже ищет новое, и это «новое» — не развлечения, а жестокость, потому что обычные развлечения приедаются, а жестокость — нет, жестокость всегда свежа, всегда остра, как первый укол, и от неё не возникает толерантности, как не воз-никает толерантности к боли. Выросла на вседозволенности — и «вседозволенность» здесь не слово, а среда, в которой она росла, как рыба в воде, не зная берегов, не зная границ, не зная, что где-то есть мир, в котором нельзя всё, и от этого незнания росла уверенность, что можно, и эта уверенность была страшнее любой жестокости, потому что жестокость хотя бы знает, что

она жестокость, а вседозволенность не знает, что она вседозволенность, и потому не чувствует вины, и не чувствует стыда, и не чувствует ничего, кроме права.

Её вступления в браки — это унижение высшей категории, и «высшей» здесь — не комплимент, а классификация, потому что унижение бывает разное: бывает грубое, бывает тонкое, бывает изящное, как отравленный клинок в бархатных ножнах, и то, что творила эта девочка, было изящным, от чего становилось только хуже, потому что грубое унижение хотя бы вызывает сопротивление, а изящное — парализует, и человек не понимает, что его унизили, пока не остаётся один, и тогда накатывает, и накатывает так, что дышать нечем. Первого мужа заставила целовать ей ноги при целой улице народа — и не просто целовать, а делать это с выражением, с чувством, с восторгом, как будто ноги — не ноги, а святыня, и от этого зрелища люди стояли и смотрели, и кто-то смеялся, кто-то отворачивался, кто-то снимал на запись, и от каждого смеха, от каждого взгляда, от каждого записывающего устройства — унижение въедалось в человека глубже, въедалось в кожу, в мышцы, в кости, в саму душу, если душа ещё оставалась к тому моменту. Второго — ползти за ней на коленях и выкрикивать слова восхищения метров пятьсот, и пятьсот метров на коленях — это не пять шагов, это путь, долгий, мучительный, каждый метр которого — как год, проведённый на солнцепёке без воды, и от этого пути колени стирались до крови, а слова восхищения — до бессмыслицы, и последнее, что оставалось, — не восхищение, а хрип, сиплый, мокрый, жалкий. С третьим только нет видео. Написано, что встретились у туалетов в ресторане — и место выбрано не случайно, потому что туалет — это не просто комната, это символ, и символ этот говорит: ты здесь, у туалета, и ты здесь на коленях, и от этого контраста — высокое и низкое, чистое и грязное, достоинство и унижение — унижение становится ещё глубже, ещё большее, ещё безысходнее. Что там было — не ясно, людей вокруг не было. Только после она всегда появлялась только в его сопровождении, и о первых мужьях больше никто не слышал, и это «никто не слышал» звучало зловеще, как тишина после крика, и в этой тишине — не покой, а отсутствие, и отсутствие это — не смерть, но и не жизнь, а что-то между, что-то серое, безымянное, от чего по спине пробегал холодок.

На всех вечеринках она блистала — и «блистала» здесь не метафора, а буквальное описание: она сияла, как драгоценность в витрине, и сияние это было холодным, безжалостным, как свет операционной, где нет тепла, только яркость, и яркость эта — не для того, чтобы греть, а для того, чтобы освещать, чтобы все видели, чтобы все знали, чтобы все запоминали. Лучшие наряды, дорогие украшения, не каждый мог себе такое позволить — и от этого «не каждый» она наслаждалась ещё больше, потому что недоступность — это её кислород, её вода, её пища, и без недоступности она задыхалась, как рыба без воды, и потому окружала себя тем, что другим не по карману, и от этого контраста — её богатство и чужая бедность, её сияние и чужая тень — кормилась, росла, набирала силу. Её мать была членом совета планеты. После её смерти должность переходит к дочери. Только занять место она сможет в двадцать один год — это прям её место, там сидят все, такие как она, отъявленные стервы и издают законы в угоду себе, ущемляя права мужчин всё больше, и каждое ущемление — как прищемлённый палец: больно, но терпимо, а потом прищемляют ещё, и ещё, и ещё, и в конце пальцев не остаётся, а боль остаётся, и ты живёшь с ней, как с соседом, которого не выселишь, не прогонишь, не заставишь замолчать. А в купе с клиникой, которой Валерина теперь владеет, её голос будет одним из решающих. Клиника ведь помогает улучшить рождаемость женщин — и от этого сопастовления, власть + клиника, становилось тревожно, потому что тот, кто контролирует рождение, контролирует будущее, и от этого контроля веяло чем-то таким древним, таким первобытным, что хотелось отодвинуться, как от огня, который греет, но может сжечь.

Почитал и посмотрел все её хождения, и встречаться с ней отпало всё желание — не осталось, не сохранилось, не уцелело, а именно отпало, как листья с дерева, которое больше не хочет расти. Буду прятаться на своём собственном корабле до последнего, а потом сдам

начальнику космопорта. Пусть сами с ней разбираются. Моё дело было только спасти и доставить. Свою миссию я выполню, дальше не моя забота, и эта граница — «моя забота» и «не моя забота» — была единственной стеной, которую я мог построить между собой и тем миром, в котором женщины вроде Валерины Рейн решают судьбы мужчин, как шахматист решает судьбу пешек, не спрашивая, не объясняя, не извиняясь.

Я прекрасно справился с этой задачей при её пробуждении — зашёл, кратко доложил, сохранил на лице выражение профессиональной, нейтральной вежливости, которая не теплее, чем обшивка корабля, и которая должна была сказать: я выполняю долг, не более, и вы для меня — не гостя, а обязанность, и как только обязанность будет выполнена, я исчезну, и вы меня не найдёте, и не нужно. Сослался на срочные дела и ушёл в управленческую рубку. Хватит того, что я отдал ей свою каюту — единственное на корабле место, где можно было побыть одному, где стены не слышали чужих разговоров, где воздух не пропитан запахом общего душа и общего страха. Остальные гораздо меньше, с общими душевыми, и от этого «общими» веяло такой казённой, такой безличной обречённостью, что даже я, привыкший к казарме, к тесноте, к чужому присутствию, — ощущал в этих каютах не временное жильё, а камеру. Представляю, какой бы она закатила скандал, посели её в обычную каюту, и от этого представления внутри шевельнулось что-то похожее на мрачное удовлетворение — не злорадство, нет, а усталое, почти отцовское: «Ну вот, получай, теперь ты знаешь, каково остальным». Тут и с моей каютой гарантии никакой, она тоже не слишком роскошна — кровать, стол, терминал, шкаф, и от этого набора веяло такой спартанской, такой военной сдержанностью, что для женщины, привыкшей к шелкам и зеркалам, эта каюта — не жилище, а оскорбление. Кеннет доложил, что всё прошло спокойно. Наверное, сказался шок от пережитого и потери близкого мужа. Не берусь утверждать, что любимого, потому что «любимый» и «близкий» — разные слова, и близость может быть не от любви, а от удобства, и удобство это — не привязанность, а привычка, как привычка к старой обуви, которую не выбрасывают не потому, что любят, а потому, что нога привыкла. Зато был ближе, чем остальные. Осталось продержаться три дня, и «три дня» звучало как приговор, но хотя бы с конечным сроком, и от этого срока можно было отсчитывать, как заключённый отсчитывает дни на стене: один, два, три — и свобода, или то, что я называл свободой, потому что настоящая свобода — это не отсутствие Валерины, а отсутствие системы, которая делает женщин такими, как она.

Хотел позвать Кеннета пообедать. Оказалось, Валерина у него в медицинском блоке. Думается, отошла от шока и прискакала закатить сцену — и от этой мысли внутри что-то сжалось, подготовилось, натянулось, как тетива перед выстрелом, потому что сцена от Валерины — это не разговор, а спектакль, и в этом спектакле мне отведена роль либо зрителя, либо жертвы, и ни одна из этих ролей мне не подходила. Но нет. Задала пару ничего не значащих вопросов и ушла, и от этого «ничего не значащих» стало не легче, а тревожнее, потому что тихая Валерина — страшнее громкой, как тихая вода — страшнее бурной, потому что бурная хотя бы видна, а тихая — нет, и от неё не знаешь, чего ждать. Расслабляться не стал. Всё ещё может быть впереди, и это «всё» — не пустое слово, а конкретный, выверенный список возможностей, каждая из которых хуже предыдущей.

Мы были с Кеннетом в столовой, обсуждали поведение девушки, когда на нас напали пираты. На военный бомбардир напали пираты?! — и в этом вопросе не удивление, а недоумение, потому что военный бомбардир — это не торговое судно, не яхта, не прогулочный катер, а боевая единица, от которой пираты обычно обходят стороной, как обходят стороной огонь, потому что огонь жётся, и проверять это не нужно, это известно. Они нас обходят стороной, а тут — на тебе, и от этого «на тебе» веяло такой целенаправленной, такой спланированной дерзостью, что внутри всё похолодело, потому что пираты, которые нападают на военный корабль, — не пираты, а наёмники, а наёмники работают по заказу, а заказ стоит денег, и деньги эти — не их, а чьи-то, и чьи-то — это главный вопрос, на который у меня не было ответа.

Побежал на мостик управления — и каждый шаг отдавался гулким эхом в металлических коридорах, которые уже знали, что происходит, и от этого знания вибрировали, гудели, как струны, по которым прошли невидимой рукой. Надо отдать им должное — хорошо подготовились, и «хорошо» здесь — не комплимент, а диагноз, потому что подготовка такого уровня требует времени, денег, информации, и всё это — не у пиратов, а у того, кто их нанял, и этот «кто-то» — не любитель, а профессионал, и от этого осознания стало по-настоящему тревожно, потому что профессионал не ошибается, не даёт второй шанс, не оставляет свидетелей. Незаметно подобрался так близко, да ещё и с трёх сторон — и трёхстороннее окружение — это не тактика, это стратегия, и стратегия эта говорила: целимся не в корабль, а в человека, и человек этот — не я, не Кеннет, а та, кого я спас, и от этого понимания внутри что-то перевернулось, потому что получается, я вёз не пассажирку, а мишень. Только успел оценить ситуацию, как начался обстрел — и обстрел был не хаотичный, не панический, а методичный, выверенный, как удары хирурга, который знает, куда резать, и каждый залп ложился точно, не вразнобой, а в одну точку, и от этой точности хотелось кричать, потому что точность — это не пиратская манера, пиратская манера — это широко, много, наобум, а тут — снайперская, и от неё не спрятаться, не увернуться, не откупиться. Пытались уйти — не получалось. Зажимали, не давая места для манёвра, и от этого сжатия корабль стонал, как живое существо, загнанное в угол, и я чувствовал этот стон каждой пластиной обшивки, каждым заклёпкой, каждым метром переборки, потому что корабль — это не металл, это дом, и когда дом горит, ты не можешь не чувствовать. Быстро вывели из строя главные пушки — и от этого корабль стал беззубым, беспомощным, как зверь, которому выбили клыки, и от этой беспомощности внутри поднималась ярость, густая, тёмная, как дым, но ярость была бесполезна, как слёзы против огня.

Кому же так мешает эта девчонка? — и вопрос этот висел в воздухе, не требуя ответа, потому что ответ был очевиден: кому-то очень конкретному, очень богатому, очень могущественному, и от этого «кому-то» становилось холодно, потому что я не знал его, а он, вероятно, знал меня, и эта асимметрия — я слеп, он зряч — была страшнее любого обстрела. Глядя на происходящее, даже представить не могу, сколько гало-единиц было отдано. Много, чертовски много — настолько много, что эта сумма могла бы купить небольшой город или средний флот, и от этой щедрости веяло такой отчаянной, такой безжалостной решимостью, что становилось ясно: кто бы это ни был, он не остановится, не отступит, не передумает, и Валерина Рейн — для него не человек, а задача, и задача должна быть выполнена. Что бы мы ни предпринимали, они были на шаг впереди нас — и этот «шаг» был не тактическим, а стратегическим, не на уровне боя, а на уровне игры, и игра эта была шахматная, и мы были не фигурами, а пешками, и пешки не знают, зачем их двигают, они просто идут вперёд, пока не исчезнут с доски. Мы боролись до последнего, но шансов не было — и это «не было» звучало не как поражение, а как констатация, сухая, честная, безжалостная, как приговор, который зачитывают без эмоций, потому что эмоции ничего не изменят. Отдал приказ о немедленной эвакуации и помчался в свою каюту, где должна быть Валерина. Спасти её — первоочередная задача, и «первоочередная» здесь — не выбор, а приказ, не мой, а системы, долга, протокола, который говорит: спаси гражданского, потом спасайся сам, и от этого протокола внутри что-то сопротивлялось, потому что протокол не знает, кто этот гражданский, а я знаю, и от этого знания спасти её было не только долгом, но и мучением.

Забегая — её нет. Куда могла деться эта бестолковая? Неужели не понятно из предыдущего опыта, что на нас напали и надо сидеть в каюте, и от этой непонятности внутри закипало — не злость, а бессилие, потому что бессилие перед врагом — это одно, а бессилие перед глупостью союзника — совсем другое, и от него нет ни щита, ни оружия, ни защиты. Зову — нет ответа, и тишина эта звучала оглушительно, как тишина перед взрывом, которая громче любого крика, потому что в ней — не отсутствие звука, а присутствие страха. Зову громче, представляюсь, и голос мой в грохоте и скрежете звучит чужим, не своим, как голос человека,

который кричит в бую и знает, что его не услышат, но кричит всё равно, потому что не кричать — значит сдаться. Выходит из-за шкафа. Значит, мозги всё-таки есть. Спряталась, а не вышла сразу, потому что не знала меня. Уже хорошо — и от этого «хорошо» стало чуть спокойнее, не безопасно, а именно спокойнее, как становится спокойнее, когда узнаёшь, что у напарника хотя бы есть инстинкт самосохранения, пусть и примитивный, пусть и животный, но есть, и на этом можно строить, из этого можно лепить, это можно использовать.

Подходим друг к другу, и случается то, чего я боялся больше всего на свете. Я смерти так не боялся, как притяжения — и это не преувеличение, а факт, потому что смерть — это конец, точка, тишина, а притяжение — это начало, и начало это бесконечное, безвыходное, как коридор, в котором нет дверей, и по которому ты будешь идти всю жизнь, и каждая стена — чужая воля, каждый поворот — чужой каприз, каждый шаг — чужое решение, и твоих шагов больше нет, и ты — не идёшь, а тебя ведут. Пытаюсь взять себя в руки — и руки не слушаются, и тело не слушается, и воля не слушается, и всё, что я строил сто лет — гордость, достоинство, независимость, — всё это рушится, как карточный домик, от одного взгляда, от одной вспышки зелёного света в чужих глазах, и от этого разрушения внутри что-то кричит, воеет, рвётся, но крик этот — как крик сквозь стекло: его не слышно снаружи, но внутри — оглушителен. С трудом получается. Открываю спасательную капсулу, чтобы начать эвакуацию. Валерина начинает упираться, отказываясь залезать в капсулу, и от этого отказа внутри всё взрывается, потому что ситуация — жизнь и смерть, а она упрямится, как ребёнок, который не хочет ложиться спать, и от этого упрямства мозг закипает, и в этом кипении — ярость, бессилие и что-то третье, что я не могу, не хочу, не имею права называть, потому что назвав, я признаю, и признав, я подчинюсь, и подчинившись, я исчезну.

Уговоры не помогают, время на исходе. И вот тут я в полной мере ощутил, что такое притяжение. Это полное и безоговорочное подчинение женщине — не телом, нет, телом я ещё мог управлять, а чем-то более глубоким, более фундаментальным, чем тело, чем разум, чем воля, чем-то, что живёт ниже всех слоёв, в самом фундаменте, в том месте, где человек перестаёт быть человеком и становится биологией, инстинктом, химией, и от этой химии нет противоядия, как нет противоядия от гравитации. Я не могу сделать того, чего она не хочет — не «не должен», а именно «не могу», и это «не могу» — не выбор, а отсутствие выбора, и от этого отсутствия внутри всё сжимается, как сжимается сердце в груди, которая проваливается. Мне стало по-настоящему страшно. Не из-за возможной скорой смерти, а от осознания, что буду делать всё, что ей придёт в голову, и не смогу этому противиться. Головой буду понимать, что не хочу этого делать, а делать всё равно буду — и это расщепление, этот разрыв между «понимаю» и «делаю», — страшнее любой боли, потому что боль хотя бы честна: она говорит «больно», и ты знаешь, что больно, а тут — ты знаешь, что не хочешь, и делаешь, и от этого знания ты сходишь с ума, медленно, постепенно, как дом, который разрушают не взрывом, а трещиной, которая расширяется каждый день, и ты видишь, и не можешь остановить.

Промелькнула мысль позволить ей умереть, а самому прыгнуть в капсулу и спастись. Спастись от пиратов и от жизни с такой женой, как эта девчонка — и мысль эта была не жестокой, а отчаянной, как последняя спичка, которую зажигаешь, когда всё уже горит, и ты знаешь, что спичка не спасёт, но всё равно зажигаешь, потому что не зажечь — значит сдаться, а сдаться — не в моих правилах. Но и тут меня ждал сюрприз. Я не мог бросить свою избранную в смертельной опасности — не «не хотел», а «не мог», и это «не мог» звучало как приговор, вынесенный мне же мной же, и от этого приговора не было апелляции, не было помилования, не было отсрочки. У меня мозг разрывался между рациональностью и полным подчинением Валерине — и разрыв этот был не метафорическим, а физическим, как будто внутри черепа две силы тянули в противоположные стороны, и каждая — равная, и от этого равенства ни одна не могла победить, и они просто разрывали меня пополам, и половины эти кричали каждая своё: одна — «беги», другая — «спаси», и обе были мной, и обе были правы, и обе были

неправы, и от этого противоречия я стоял, трясущийся, между жизнью и жизнью, между свободой и долгом, между «я» и «не я». Приложив просто титанические усилия — не «большие», не «значительные», а титанические, и слово это здесь не для красного словца, а для точности, потому что усилие было такого масштаба, что после него тело обмякло, как после боя, — смог договориться сам с собой, что в связи со смертельной опасностью я могу пойти против её воли и спасти её жизнь. Запихнул её в капсулу, настроил и поспешил к своей, и в этом «запихнул» было не насилие, а спасение, и от этого парадокса — спасение через насилие — внутри что-то надломилось, но не сломалось, и я держался на этом надломе, как на трости, которая хрустит, но выдерживает.

Первые минуты всё шло хорошо. Я синхронизировал наши капсулы и задал направление на Виаран, и от этой синхронизации стало чуть спокойнее, потому что мы летели вместе, и «вместе» здесь — не тепло, не уют, а контроль, и контроль этот — единственное, что я мог, и я цеплялся за него, как тонущий за обломок мачты. Тут в мою капсулу прилетает осколок обшивки корабля — глухой удар, от которого капсула вздрогнула, как от толчка, и от этого толчка внутри всё оборвалось, потому что осколок — это часть корабля, а корабль — это дом, и дом гибнет, и кусок его прилетел в меня, как последнее слово, как прощание, и от него стало горько. Настройки начинают сбивать, и от каждого сбоя капсула дёргается, и каждый рывок — как удар кнутом, и от этих ударов голова гудит, а перед глазами всё плывёт, и мир теряет чёткость, как фотография, которую помяли, и на ней уже не разобрать лиц. Пытаюсь вручную перенастроить — пальцы не слушаются, браслет не отвечает, цифры скачут, и от этого хаоса внутри поднимается паника, но паника эта — последняя, потому что за ней — темнота, и темнота эта — не враг, а отдых, и от неё не нужно защищаться. Капсулу кружит, она набирает скорость, и от этой скорости тело становится свинцовым, а мысли — жидкими, и они утекают, как вода сквозь пальцы, и последняя мысль — о ней, и от этой мысли хочется выть, потому что даже теряя сознание, я думаю о ней, и от этого — не спрятаться, не скрыться, не убежать, даже во сне. Голова гудит, перед глазами плывёт. Не вижу, что делаю. Сознание туманится и вскоре полностью пропадает — и темнота приходит, как помилование, и в ней — ни боли, ни страха, ни притяжения, ни зелёного света, ничего, только покой, и покой этот — последний подарок, который я могу себе дать.

Пришёл в себя от ведра ледяной воды — и вода эта была не милосердием, а оружием, ударом, который бьёт не по телу, а по сознанию, и от него глаза открываются не потому, что хочешь, а потому, что не можешь не открыть, как не можешь не вздрогнуть от удара. Хороший приём, «дружеский». Открываю глаза — прямо передо мной стоит здоровенный мужик, и от его вида внутри всё сжимается, потому что мужик этот — не спасатель, не врач, не союзник, а тюремщик, и от этого узнаётся не лицом, а позой, тем, как он стоит — над, сверху, как стоит человек, который знает, что ты — ниже, и это «ниже» — не рост, а статус, и статус этот он определил за меня, без меня, против меня. Пытаюсь подняться, всё болит — и боль эта не от перегрузки, не от падения, а от ударов, которые я не помню, но тело помнит, и каждый синяк, каждая ссадина, каждый рубец — как письмо, которое я не читал, но которое уже вскрыто, и содержимое — на коже, на мышцах, на костях. Он заявляет, что отныне я раб и должен исполнять приказы хозяина, и слово «раб» в его устах звучит так буднично, так обыденно, как «доброе утро» или «хлеб подорожал», и от этой будничности — тошнит, потому что если слово «раб» звучит обыденно, значит, обыденностью стало и то, что за ним стоит, и от этой обыденности — не спрятаться, не скрыться, не притвориться, что не слышал. Пока в его лице, а потом того, кто меня купит, и от этого «купит» — холод, не от страха, а от понимания, что меня уже купили, уже продали, уже решили, и я даже не присутствовал при сделке.

Сначала честно пытался объяснить, что произошла ошибка. Я гражданин другой планеты и потерпел крушение, мне нужна помощь. Я могу щедро отблагодарить — и голос мой звучал ровно, спокойно, не просительно, а деловито, как голос человека, который верит в разумность

собеседника, и от этой веры — тепло, потому что вера — это последнее, что остаётся, когда всё остальное уже отняли. Он и слушать не стал. Сказал, что я потревожил покой какой-то там благородной дамы и за нанесённый ущерб сослан в рабство — и от этих слов внутри всё похолодело, потому что «потревожил покой» — это не преступление, а повод, и повод этот — не для наказания, а для наживы, и нажива эта — не деньги, а человек, и от этого превращения человека в наживу — тошнит так, что не помогает ничто. В первые минуты не верил, но, узнав, на какую планету попал, всё встало на свои места. Скарта — одна из немногих планет, где отношение к мужчинам ещё хуже, чем у нас, и «хуже» здесь — не наречие, а диагноз, потому что у нас хотя бы есть притяжение, которое — пусть унизительно, но биологично, а здесь — нет даже притяжения, только власть, голая, безынтересная, безжалостная, как машина, которая не знает, зачем работает, но работает, и от этой безынтересной власти — холоднее, чем от любой злобы, потому что злоба хотя бы видит в тебе человека, а безынтересная власть — не видит, и от этого — самое страшное: быть невидимым, не как призрак, а как вещь, которую не замечают, потому что не считают нужным.

Пытался воспротивиться, но куда там. Мужик габаритами больше меня, а я ещё не в форме после пережитого — тело слабое, ватное, как после долгой болезни, и от этой слабости внутри поднималась ярость, потому что слабость — не моя, а навязанная, и от этого — двойная обида, как от удара, который нанесли исподтишка, и ты не можешь ответить, не потому что не хочешь, а потому что не можешь, и от этого «не могу» — тошнит так, что ярость мешается с бессилием, и смесь эта — горькая, тяжёлая, как ртуть. Между нами завязалась недолгая драка — и «недолгая» здесь — не описание, а приговор, потому что драка закончилась так, как должна была закончиться: сильный победил слабого, и от этого исхода — не обида, а усталость, потому что всё было предопределено, и я это знал, и всё равно дрался, и от этого — не гордость, а горечь, потому что драться, зная, что проиграешь, — это не храбрость, а отчаяние, и отчаяние — плохой союзник. Меня отправили в нокаут — и темнота пришла снова, но на этот раз — не как покой, а как наказание, и от неё — не отдых, а боль, которая не спрашивает разрешения.

Пришёл в себя раздетый и привязанный к столбу. Мужик с кнутом в руках пытался меня сломать — и слово «сломать» здесь — не метафора, а цель, конкретная, ясная, как мишень, и кнут — инструмент, и столб — подставка, и я — материал, и от этого описания — тошнит, потому что я — не человек, а материал, и материал нужно обработать, и обработка — это боль, и боль — это метод, и метод — это система, и система — это мир, и от мира этого — не убежать, не откупиться, не спрятаться. Не на того напал. Я лучше сдохну, чем буду ползать на коленях всю оставшуюся жизнь, и эта мысль — не храбрость, а упрямство, то самое упрямство, которое я вынашивал сто лет, которое стало не чертой характера, а скелетом, и если его сломать — я не смогу стоять, не потому что ноги не выдержат, а потому что без этого скелета — нет меня, есть только тело, а тело — не я. Первые удары сносил стойко — не потому что не больно, а потому что боль — не аргумент, и от каждого удара я отвечал не стоном, а молчанием, и молчание это — мой последний бастион, и я держал его, как держат стену под обстрелом: не потому что стена крепкая, а потому что за ней — всё, что осталось. После десятого стали прорываться стоны — и от каждого стоны — обида, не на мужика, на себя, потому что стон — это трещина, и трещина эта — предательство, не чужое, а своё, и от этого предательства — горче, чем от удара. Сжимал зубы и продолжал терпеть. Боль бешеная — не «сильная», не «тяжёлая», а бешеная, и слово это здесь — не образ, а точность, потому что боль — не просто сигнал, а стихия, и от стихии нет защиты, нет щита, нет стены, есть только ты, и ты — тонешь, и тонешь, и тонешь. Но моих криков он не услышит. Не знаю, после какого удара я всё же потерял сознание от болевого шока — и темнота пришла в третий раз, и на этот раз — как милосердие, и от этого милосердия — стыдно, потому что милосердие от боли — не победа,

а сдача, и я сдался, и от этого — горько, но тело — не дух, и тело имеет предел, и предел этот — не слабость, а физика, и физику — не обмануть, не уговорить, не победить.

Что происходило после — не знаю. Мне снилась Валерина. Что конкретно — не помню, знаю только, что ловил себя на мысли: теперь и во сне от неё не спрятаться, и от этой мысли — не страх, а усталость, глубокая, костная, как усталость человека, который бежал слишком долго и понял, что бежать — некуда, потому что цель бежит вместе с ним, и цель эта — не преследователь, а тень, и тень — не снаружи, а внутри, и от неё не убежать, потому что убежать от себя — невозможно, как невозможно убежать от собственного сердца.

Проснулся в просторной чистой комнате, лежа на животе — и первое ощущение было не боль, а удивление, потому что комната — чистая, просторная, с мягким светом, и от этого контраста — с грязного двора, с крови, с кнута — в чистую, тихую комнату — внутри что-то дрогнуло, как дрожит человек, который долго шёл по тьме и вдруг вышел на свет, и от света — не радость, а недоверие, потому что после тьмы — свет кажется ловушкой, и от этого недоверия — не расслабиться, не выдохнуть, не поверить. Попытался встать, и меня накрыла волна боли — не та, прежняя, бешеная, а новая, тупая, ноющая, как от загноившейся раны, и от этой боли — стон вырвался сам, без спроса, без разрешения, и от этого — стыдно, потому что стон — это слабость, а слабость — роскошь, которую я не мог себе позволить. На мои стоны вошёл молодой парнишка — тихий, осторожный, как входят в комнату, где лежит больной, и от этой осторожности — не тепло, а настороженность, потому что осторожность может означать что угодно: и заботу, и страх, и привычку ходить на цыпочках перед хозяином.

— Ты очнулся? Надо смазать раны, чтобы быстрее зажили, — заговорил он, присаживаясь на край кровати, и голос его был тихим, ровным, как у человека, привыкшего говорить с теми, кто не может ответить: с больными, со слабыми, со сломленными. Не стал возражать. Здоровым всё легче держать оборону, и от этой мысли — не стратегия, а инстинкт, потому что военный мыслит категориями обороны даже в больничной койке, и от этого — не гордо, а горько, потому что оборона — не выбор, а единственное, что осталось, и от неё — не атаковать, а только держаться, и держаться — тяжело, когда тело — как крошащийся камень.

— Где я? — решил всё же прощупать почву, и голос прозвучал хрипло, грубо, как полированный металл.

— Во временном доме, — интересное начало, и от этого «временный дом» — настороженность, потому что «временный» — значит ненадолго, и «дом» — значит не тюрьма, но и не свобода, и от этого — вопрос без ответа, и от вопроса — тревога.

— Как я сюда попал? — продолжаю собирать информацию, и каждый вопрос — как щуп, который опускают в темноту, и по нему определяют глубину, рельеф, опасность.

— Так вместе с хозяйкой, — почему не может дать полноценного ответа? Сразу видно — не служил, и от этого — не раздражение, а усталость, потому что неслуживший — не плохой, а другой, и от этого «другого» — не понять, не договориться, не опереться, и от этого — тоскливо, как тоскливо человеку, который привык к чёткой, военной коммуникации, когда говорят: цель, задача, средства, срок, — а тут — обрывки, намёки, полужазы, и от них — не картина, а туман.

— У меня появилась хозяйка? — кажется, я проспал свою перепродажу, и от этого «перепродажу» — холод, не от страха, а от абсурда, потому что быть проданным один раз — позор, а дважды — уже фарс, и от фарса — не стыдно, а тошно, потому что фарс — это унижение, возведённое в абсурд, и от абсурда — не защититься, не отразить, не пережить, можно только стоять и смотреть, как стоящий безучастно, как смотрят на пожар, который уже не потушить.

— Да. Госпожа Рина купила тебя вчера. Позвала доктора. Отдала кучу денег, чтобы ты быстрее встал на ноги. Уже завтра будешь полностью здоров, — и от каждого слова — новый слой, и слои эти — не складываются, а наслаиваются, и от наслаивания — не ясность, а путаница, потому что «купила» — одно, «позвала доктора» — другое, «отдала кучу денег» — тре-

тье, и от этих трёх — не картина, а вопрос, и вопрос — один: зачем? Что же она потребует за столь щедрое лечение? Вот главный вопрос, и от него — не любопытство, а страх, потому что щедрость — не доброта, а инвестиция, и инвестиция — требует возврата, и возврат — всегда дороже вложения, и от этого — холодно, потому что цена — неизвестна, а неизвестная цена — самая высокая, и от неё — не откупиться, не отбиться, не отбросить.

— И какая она? Как с тобой обращается? Чего мне ожидать? — засыпал парня вопросами, и каждый — как выстрел, не в цель, а в темноту, и от каждого — отдача, и от отдачи — усталость, но останавливаться нельзя, потому что незнание — хуже боли, и от боли — хотя бы знаешь, где болит, а от незнания — не знаешь ничего, и от этого не видно ни стен, ни пола, ни потолка, и ты — посередине, и от середины — не вверх, не вниз, не в стороны, а только на месте, и на месте — самое страшное, потому что на месте — ждёшь, а ожидание — хуже действия, и от ожидания — нервы натягиваются, как струны, и от натяжения — дрожь, и от дрожи — неточность, и от неточности — ошибка, и от ошибки — всё.

— Она добрая. Ко мне относится хорошо. А как с тобой будет, не знаю. Меня ей подарили только вчера. Она с Виарана, — и от каждого слова — новое, и новое это — не складывается, а валяется, как обломки, и от обломков — не картина, а мозаика, и мозаика — не сложена, и от этого — не понять, а догадываться, и догадки — не знание, а предположение, и от предположения — не уверенность, а тревога, и от тревоги — не страх, а ожидание, и от ожидания — усталость.

Совпадение? Не думаю. Рина... Рина... Валерина? — и мысль эта пришла не как озарение, а как удар, не снаружи, а изнутри, и от удара — остановилось всё, не сердце, нет, а время, и от остановки — тишина, и в тишине — два слова, и два слова — одно, и от этого — не удивление, а ужас, потому что если это она, то всё — не просто плохо, а безнадёжно, и от безнадёжности — не сдаться, нет, но — застыть, и от застывания — не лёд, а камень, и от камня — не сдвинуться, не пошевелиться, не дышать.

— Валерина?! Её имя Валерина? — спрашиваю, приподнимаюсь на локтях, не обращая внимания на боль, и боль — отступает, не потому что прошла, а потому что её — задавило, раздавило, вытеснило чем-то более сильным, чем боль, — страхом, и от страха — не оцепенение, а ясность, острая, как лезвие, и от этой ясности — всё видно, всё слышно, всё осязаемо, и от этого — хуже, потому что лучше — не видеть, не слышать, не ощущать, а знать, что — видишь, слышишь, ощущаешь, — от этого — тошнит. Затаил дыхание, ожидая ответа, и от этого ожидания — секунды тянутся, как часы, и в каждой секунде — жизнь, и жизнь эта — не моя, а чужая, и от чужой — не отказаться, не отказаться, не отказаться.

— Да. Но мне сказала звать её Риной, — и от этого «Риной» — всё, не ответ, а всё, и от всего — не страх, а то, что после страха, — пустота, густая, тяжёлая, как свинец, и в этой пустоте — не мысль, а одно слово, и слово — одно: бездна.

Ну вот и всё. Добрая, как же. Не успела прилететь — уже двумя рабами обзавелась. Конечно, лечит — как над полутрупом издеваться? Никак. Чувствую, ждёт меня бездна — и от этой бездны — не страх, а усталость, потому что страх — это когда не знаешь, что будет, а я — знаю, и от знания — не легче, а тяжелее, потому что не знать — надежда, а знать — приговор, и приговор этот — не смерть, а жизнь, и от жизни этой — не сбежать, не спрятаться, не забыться, потому что притяжение — не отпускает, даже во сне, и от этого — бездна, и бездна — не метафора, а место, и место это — моё, и от него — не уйти.

ГЛАВА 10

Валерина.

Просыпаюсь от чувства, что на меня кто-то смотрит — липкого, тяжёлого, будто воздух в комнате сгустился и стал давить на веки. Открываю глаза. От неожиданности резко сажусь, и кровать отзывается тихим, ворчливым скрипом, словно тоже не рада столь резкому пробуждению. У кровати стоит Билтар. Стоит и нагло разглядывает меня — в его взгляде смешались дерзость и холодная насмешка, а поза будто нарочно выстроена так, чтобы подчеркнуть: он здесь, он на виду, и ему плевать, уместно это или нет. Тени ложатся на его лицо резкими, угловатыми мазками — в полумраке комнаты черты кажутся жёстче, будто высеченными из камня.

— Что ты тут делаешь? — выпаливаю, забывая спросить о самочувствии. Голос звучит хрипло, ещё не проснувшийся, чужой.

— Благодаря стараниям врача, жив, здоров и готов получать приказы хозяйки, — отвечает он, и в интонации звенит едва сдерживаемая ирония, как лезвие, которое нарочно проводят по краю чашки, чтобы услышать этот тонкий, режущий звук.

— Какие приказы? — нахожусь в полном непонимании ситуации. Мозг ещё не до конца проснулся, мысли ворочаются медленно, будто сквозь густой сироп, и каждое слово приходится выдёргивать с усилием.

— Ну как же? Госпожа меня купила, вылечила. Я готов к работе. Жду ваших указаний, — произносит он с преувеличенной почтительностью, которая царапает слух, как наждачная бумага по стеклу.

Сижу, хлопаю глазами. Какая муха его укусила?

— Уж извините, на колени встать пока не могу, вчера настоялся, — добавляет он ехидно и при этом так гаденько улыбается — уголок рта ползёт вверх, а в глазах пляшет упрямое, колючее веселье. Всё ясно, точно издевается!

— Покинь мою комнату СЕЙЧАС ЖЕ! — произношу с плохо скрываемой злостью. В груди поднимается горячая волна раздражения, смешанного с усталостью — будто кто-то нарочно трясёт меня за плечи, не давая досмотреть последний, самый нужный сон.

— Как прикажете, госпожа, — кланяется он демонстративно, с театральным изяществом, и выходит, нарочито чеканя шаг. Дверь закрывается с тихим, но отчётливым щелчком — как финальная точка в неприятном разговоре.

Соскакиваю с кровати, чуть не падаю, запутавшись в одеяле — оно цепляется за ноги тяжёлыми складками, словно не хочет отпускать в этот день. Чертыхаюсь по дороге в ванную. Холодный кафель неприятно отдаёт сыростью, а зеркало встречает усталым отражением: под глазами залегли тени, в уголках рта — упрямая жёсткость, которую я сама не замечаю, пока не увижу со стороны.

Как можно было испортить настроение с самого утра? Что ему спокойно не сиделось? Накрутил меня с утра пораньше. Будто и без него желающих мало. Нет, ну что за человек? Я ему жизнь спасла. Так сказать, отблагодарила за свою спасённую два раза, а он?!

Принимаю контрастный душ в попытке успокоиться. Струи воды бьют по плечам, сначала обжигая, потом остужая, и с каждой секундой напряжение понемногу сползает, как старая, пересохшая корка. Душ относительно помог. Уже более собранная и настроенная на новые свершения, выхожу в гостиную.

Билтар и Вилл сидят на диване и мирно беседуют. Свет из окна ложится на них косыми, золотистыми полосами, выхватывая из полумрака отдельные детали: прядь волос Вилла, небрежно упавшую на лоб, напряжённую линию плеч Билтара, которую он старается скрыть под показной расслабленностью.

— Собираемся на завтрак, — говорю бодро, стараясь вложить в голос столько уверенности, сколько смогу выжать из себя в эту минуту.

Вилл тут же подскакивает и идёт к двери — в его движениях столько лёгкости, что на секунду становится теплее на душе. Билтар поднимается неспешно. По его напряжённому лицу видно, что раны всё ещё приносят ему дискомфорт: он чуть морщится, когда выпрямляется,

и старается не делать резких движений, будто боится, что боль снова схватит его за рёбра и не отпустит.

Вилл снова исполняет роль гида и приводит нас в кафе недалеко от гостиницы. Заходим, осматриваюсь. Миленько: стены выкрашены в приглушённый бежевый, столики накрыты скатертями с неброским узором, а в воздухе висит тонкий аромат свежей выпечки — тёплый, уютный, почти домашний. Нахожу глазами пустой столик — это было нетрудно, тут больше половины пустуют, и тишина кажется почти неестественной, будто кафе ждёт, когда его наполнят голосами и смехом.

Собираюсь уже идти к нему, как слышу едкое замечание Билтара:

— Я думал получить завтрак, а ты приготовила для нас порцию унижения.

Поднимаю на него непонимающие глаза. Он смотрит в сторону. Прослеживаю за его взглядом и морщусь. За дальним столиком сидит девушка, попивает напиток в красивом бокале, а рядом на коленях стоит раб. Его поза — неестественно прямая, будто он из всех сил старается не показать, как тяжело ему так стоять; на лице — пустота, старательно выстроенная маска, за которой прячется всё, что он чувствует. Картина бьёт по глазам, как резкий свет после темноты, и внутри всё сжимается от неловкости и злости — не на девушку, а на сам этот порядок вещей, который делает такие сцены обыденными.

Надо было заказать завтрак в номер, мелькает запоздалая мысль. Не думала, что можно наткнуться на подобную картину. Признаться честно, я вообще старалась не думать о рабстве — чтобы не свихнуться окончательно. Но раз уж пришли... Делаю глубокий вдох, натягиваю на лицо непроницаемую маску и целенаправленно иду в её сторону. Сажусь за соседний столик. Парни продолжают стоять.

— Что стоим? Присаживайтесь, — указываю напротив себя.

Вилл садится, уже перестал бояться — это радует, в его глазах мелькает что-то похожее на уверенность. Билтар смотрит с недоверием, но всё же опускается на стул — осторожно, будто стул может оказаться ловушкой. Подошёл официант. Беру меню, бегло просматриваю строчки, но буквы сливаются в одно пятно, и я выбираю почти наугад. Заказав сок с омлетом, протягиваю меню парням. Бил быстро заказал какую-то кашу и кофе. Вилл долго листал страницы, в итоге взял то же, что и я, но добавил пирожное. Сладкоежка? Или не ел сладкого лет десять? Скорее второе.

Заказ принесли быстро. Тарелки мягко звякнули о столешницу, чашки источали лёгкий пар, и на секунду показалось, что всё нормально, что мы просто компания друзей, собравшаяся позавтракать. Уже хотела приступить к трапезе, как раздался визгливый голос:

— Ты что делаешь?! Как ты могла посадить рабов за стол?!

Оборачиваюсь. В голосе женщины столько возмущения, что он режет слух, как скрежет металла по стеклу. Она смотрит на меня так, будто я совершила нечто чудовищное, нарушила неписанный закон, который она сама же и придумала.

— Я же не за твой стол парней посадила. В чём проблема? — не совсем понимаю её претензию. В воздухе повисает напряжение, густое и тяжёлое, как грозовая туча, готовая разразиться ливнем.

— Какая разница?! Это же рабы!!! Им нет места за столом!!! Ты позоришь себя, меня и всех женщин!!! — и визжит с каждым словом всё громче, и от этого крика хочется закрыть уши, спрятаться, исчезнуть. На нас начинают поглядывать немногочисленные посетители — взгляды скользят по нам, как холодные пальцы, и каждый такой взгляд добавляет ещё одну каплю в чашу неловкости.

Поднимаюсь, подхожу к этой истеричке. Ставлю одну руку на стол, другую — на спинку её стула, наклоняюсь и шиплю сквозь стиснутые зубы:

— Закрыла быстро рот!

Она замолкает от неожиданности, и в этой внезапной тишине слышно, как звенит чашка на её столе — тонкий, дрожащий звук, похожий на всхлип.

— Это ты позоришь всех своими воплями и поведением в целом! Мои парни выглядят хорошо и вполне могут сидеть за столом. Ты даже не сразу поняла, что они рабы. Иначе начала бы орать гораздо раньше. Не так ли? Если тебе хватает денег только на напиток, это не значит, что у всех проблемы с гало-единицами. Я могу себе позволить и приличную одежду, и еду рабам. И кто кого здесь позорит? Ммм? Может, тебе денег дать? Сама поешь и мальчика своего покормишь, — специально унижаю её, чтобы вывести из равновесия, сбить эту напыщенную уверенность, которая держится только на привычке считать себя выше других.

— С чего ты решила, что у меня нет денег? — вконец растерялась эта пигалица. Её голос уже не звенит, а дрожит, как струна, которую слишком сильно натянули.

— Посмотри на мой стол и компанию, а теперь на свой — ответ очевиден. Готова выкупить у тебя раба и облегчить тебе жизнь, назови любую сумму, — делаю попытку спасти ещё хоть одну жизнь. Понимаю, что всем не помочь, но, увидев мальчишку, уйти спокойно уже не смогу. Пока она в растерянности, может получиться забрать его.

Недолго думая, девушка произносит сумму — так же тихо, как мы вели всю беседу. Нас никто не слышит, кроме её раба: в этот момент он гулко сглотнул, выдавая себя. Сумма, должна признать, немаленькая. На эти деньги можно купить вполне приличный двухэтажный дом. Только жизнь всегда дороже.

Активирую браслет и отправляю своей новой знакомой озвученную сумму. Её браслет пиликает — короткий, резкий звук, похожий на испуганный вскрик. Она смотрит на него, на меня, снова на браслет. Не может поверить своим глазам. Ни один здравомыслящий человек не купит раба так дорого, тем более обычного, ничем не уникального. Спустя минуту всё же медленно кивает и отправляет мне документы на парня. Как я и думала: её жадность взяла верх. Я бы ни за какие деньги не отдала мальчика первой встречной. Вдруг я маньячка и убью его в этот же день. Её явно не посещают такие мысли. Ей плевать, что с ним будет. Главное — количество нулей.

Мальчишка оказался моложе Вилла, почти ребёнок. Для меня так точно — я всё ещё смотрю с высоты прожитых лет, и эта высота делает его ещё более хрупким, почти прозрачным.

— Пойдём, — говорю парню, направляясь к своему столу. — Садись, — указываю на стул рядом с собой.

Пододвигаю ему свой завтрак и прошу официанта принести кофе и пирожное. Сладкое отдаю мальчишке, сама потягиваю горький напиток. Вкус отличается от привычного, но вкусно — в нём есть что-то общее, какая-то знакомая нота, которая цепляет и не отпускает.

— Почему не стала есть? — вдруг интересуется Билтар. Его голос звучит неожиданно мягко, без привычной колкости, и от этого на секунду становится не по себе.

— Сыта по горло, — отвечаю равнодушно, но в груди всё равно шевелится что-то похожее на усталость, тяжёлое и вязкое, как мокрый песок.

Эта планета выжимает из меня все силы. Хочу уже убраться с неё поскорее. Нет сил смотреть на происходящее и осознавать, что ничего не можешь исправить — или можешь, но только по крохам, по одному человеку, по одной спасённой судьбе, и этого так мало, что иногда кажется, будто ты черпаешь океан чайной ложкой.

Возвращаемся в номер. Тишина здесь кажется почти благом — она не давит, не кричит, не требует ответа.

— Как тебя зовут? — спрашиваю новенького. И как только он открывает рот, чтобы ответить, останавливаю его и вношу уточнения: — Давай опустим ту часть, где мне угодно, и перечисление кличек, даваемых прошлой госпожой. И перейдём сразу к твоему настоящему имени.

— Марк, — почти шепчет он, смотря в пол. Его голос тихий, но не сломленный — в нём ещё живёт что-то, какая-то упрямая искорка, которую не смогли вытравить ни приказы, ни ошейник.

— Отлично, Марк. Начинай вливаться в наш маленький и дружный коллектив. Сейчас с Виллом пойдёшь в магазин.

Прошу Вилла сходить с Марком за одеждой и на обратном пути купить пирожков для всех — тех, что мы ели вчера на улице. Аппетит всё-таки проснулся, как только мы переступили порог нашей комнаты, будто само пространство номера снимало напряжение и позволяло телу вспомнить, что оно просто хочет есть. Перевожу деньги. У рабов тоже есть браслеты, но их блокирует рабский ошейник. Они могут пользоваться только теми деньгами, что переводит хозяин. Этот шнурок как-то даёт команду браслету — сложная схема, как по мне, но рабочая и удобная. Можно отправить одних и не ходить везде самой. Парни уходят, и в комнате становится тише, но не спокойнее — тишина теперь наполнена ожиданием, как воздух перед грозой.

Собираюсь пойти к себе в комнату, как Билтар меня останавливает:

— И долго это будет продолжаться? — говорит он, складывая руки на груди. Его поза — закрытая, напряжённая, будто он готовится к спору, к обороне, к чему угодно, лишь бы не показывать, что ему не всё равно.

— Что именно? — не понимаю претензии. В голове мелькает усталое: «Ну что ещё?»

— Игра в добренькую, — выплёвывает он, и слово звучит как оскорбление, как камень, брошенный в спокойную воду.

— Я не играю. Я такая и есть, — парирую, глядя ему прямо в глаза. В них мелькает сомнение, смешанное с чем-то ещё — с уважением, которое он не хочет признавать, или с раздражением, которое не может скрыть.

— Мне можешь не врать. Я изучал твоё досье и «дневник жизни» после твоего спасения. Я знаю тебя настоящую, — говорит с презрением, но в голосе проскальзывает усталость — будто ему самому надоело быть таким колючим, но он не знает, как иначе.

— Мне всё равно, что ты знаешь и думаешь обо мне. Могу сказать лишь одно: потерпи до вечера. Вечером мы улетаем на Виаран. Только поднявшись на корабль, я смогу снять с тебя ошейник. Тогда ты сможешь делать всё, что хочешь, идти туда, куда хочешь. Сейчас же извини, придётся потерпеть, — пожимаю плечами, стараясь выглядеть равнодушной, хотя внутри всё сжимается от понимания, насколько хрупка эта надежда — надежда на свободу, которая ждёт нас за пределами планеты.

Он открывает рот, желая ответить, но потом передумывает, закрывает его и уходит в свою комнату. Провожу его взглядом, вздыхаю и опускаюсь на диван. Ткань чуть пружинит под весом, и на секунду кажется, что она обнимает, даёт короткую, обманчивую иллюзию поддержки.

Точно! Улетаем! Надо купить ещё одно место для Марка. Вовремя меня осенило. Купила билет.

А про ошейник я не соврала. Узнавала вчера у Вилла: кто стал рабом, тот будет им всю оставшуюся жизнь. Если освободить, данные тут же уходят в общую базу. Человека тут же отслеживают, забирают и надевают новый ошейник. Вот так. Считается, раз тебе не нужен, найдутся те, кому нужнее. Правило действует в пределах планеты. Так что только на корабле парни будут в безопасности. И эта мысль — единственная, за которую я могу держаться, как за тонкую, но прочную нить, ведущую из темноты к свету.

ГЛАВА 11

Вернулись парни — и в номер будто ворвался поток свежего воздуха: с ними пришли запах улицы, лёгкий шум города, прилипший к одежде, и какое-то тихое, но осязаемое ожив-

ление. Марк нёс пакет с пирожками бережно, словно в нём было что-то хрупкое, не булочки, а, скажем, птичьи яйца, готовые треснуть от неловкого движения. Вилл шёл следом, чуть впереди, будто прокладывал путь, и в его походке уже не было той скованности, что сквозила в первые дни — плечи опустились, шаг стал увереннее, и от этого на душе становилось теплее.

Мы перекусили пирожками — тёплыми, с золотистой корочкой, которая хрустела и тут же рассыпалась на мелкие крошки. В воздухе поплыл густой, обволакивающий аромат свежей выпечки, смешанный с пряным запахом корицы и чуть сладковатым — ванили. Я смотрела, как Марк осторожно откусывает кусочек, как его глаза на секунду закрываются от удовольствия, и в груди что-то сжималось — не от жалости, а от тихой радости: вот он, момент, когда простая еда становится счастьем.

Поговорили о будущем — и разговор этот шёл не гладко, а с паузами, с неловкими взглядами в сторону, с попытками подобрать слова, которые не ранили бы и не звучали бы как подачка. Я предлагала после освобождения помочь финансово и с жильём — говорила спокойно, стараясь вложить в голос столько уверенности, сколько могла выжать из себя, чтобы они не чувствовали себя обязанными. Но они отказались — твёрдо, без долгих оправданий, просто переглянулись, и этого короткого, почти безмолвного обмена взглядами хватило, чтобы понять: они предпочли остаться со мной. Споры ни к чему не привели — слова кружились в воздухе, как сухие листья на ветру, и никак не могли лечь ровно, найти своё место.

Так как навыков особо у них нет, с работой возникнут проблемы — эта мысль висела между нами, незримая, но тяжёлая, как свинцовый груз. Мы остановились на том, что они будут следить за моим домом: приготовить, убратся, всё по мелочи. Будут получать зарплату, а потом уже сами решат, поступать ли куда-нибудь учиться. Когда определятся с нормальной профессией и захотят уйти, держать не стану — сказала это вслух, и слова прозвучали твёрдо, без намёка на обиду или упрёк. Первое время будут привыкать к новым реалиям — это я понимала лучше, чем кто-либо. Проведя столько времени в рабстве, конечно, парням нужно время на социализацию и адаптацию. И мне будет спокойнее — буду уверена на сто процентов, что у них всё хорошо, а не гадать, как они там устроились, не прокручивать в голове сотни тревожных сценариев, каждый из которых был хуже предыдущего.

Марк поведал о своей трагичной истории — голос его звучал тихо, ровно, будто он старался не дать словам набрать силу, не дать им превратиться в крик. Его в рабство отдала мать за долги, когда ему было двенадцать. Рабом он прожил шесть лет, у той девушки из кафе. Особо не обижала, но и не баловала — говорил он, и в этих простых словах слышалась целая жизнь: не жестокость, но и не тепло, не холод, а какая-то равнодушная серость, в которой дни сливались друг с другом, как капли дождя на мокром стекле. «Не успела ещё пресытиться благами мира. Не слишком испорченная», — добавил он, и от этих слов внутри что-то дрогнуло: радость от того, что не все одинаковые, и попадаются более или менее нормальные женщины. Может, для таких планет ещё не всё потеряно? — мелькнула мысль, лёгкая, почти невесомая, как перо, подхваченное ветром.

Хорошие парни, молодые совсем. Судьба с детства не баловала, а они всё равно держались. Хорошими людьми выросли, не озлобились — в этом было столько тихой гордости, что хотелось просто сидеть и смотреть на них, впитывать эту их несломленность, как солнце, которое греет даже сквозь тучи. А проживут в спокойной обстановке и станут достойными мужчинами — всем сердцем желала, чтобы смогли найти и реализовать себя, чтобы их путь был не борьбой за выживание, а поиском своего места в мире, где их ценят не за то, что они могут сделать, а за то, кто они есть.

Спросила у Вилла, что такое «дневник жизни». Оказывается, это аналог наших социальных сетей — «Одноклассники», «ВКонтакте»: общая космо-сеть. Там ведут дневники в основном молодые девушки, ну и все, кто хочет похвастаться. Он рассказывал об этом просто, без пафоса, а я слушала и пыталась представить этот мир — бесконечную ленту коротких записей,

фото, видео, где каждый старается показать себя чуть лучше, чуть ярче, чуть счастливее, чем есть на самом деле. И в этом странном, далёком мире кто-то изучал моё прошлое, читал мои слова, смотрел на мои фото — и от этой мысли становилось не по себе, как от чужого взгляда в спину.

За разговорами время пролетело незаметно — часы будто ускорились, минуты слиплись в одну длинную, тёплую полосу, и только когда солнце, пробиваясь сквозь щель между шторами, легло на пол косым, золотистым прямоугольником, я поняла, что уже поздно. Заказала обед в номер — не стала больше искушать судьбу. Пусть хоть этот вечер пройдёт без сцен, без криков, без чужих осуждающих взглядов. Не хотелось снова чувствовать на себе эти взгляды — холодные, оценивающие, будто я каждый раз должна доказывать, что имею право просто быть.

Не стала выходить, ждала, пока принесут еду. Запах горячего супа и жареной курицы медленно расползлся по комнате, смешиваясь с запахом свежего хлеба, и на секунду показалось, что мы не на чужой, враждебной планете, а дома — там, где стены помнят твой голос, а тишина не давит, а обнимает. Быстро поела — не потому что не хотелось, а потому что внутри всё ещё гудело от напряжения, и кусок не шёл в горло. Уходя к себе в комнату, попросила Вилла пригласить к обеду Билтара: «Не хочу оставлять его голодным из-за наших разногласий». Слова прозвучали просто, буднично, но в них пряталось что-то большее — нежелание, чтобы обида становилась стеной, за которой люди перестают видеть друг друга. Пусть хотя бы поест. Пусть хотя бы это будет нормально.

Рабы слева Марк, справа Вилл.



Улеглась на кровать — пружины тихо скрипнули, принимая мой вес, а матрас чуть прогнулся, словно пытался обнять, удержать хоть на минуту в этом обманчивом покое. В комнате было полутемно: свет пробивался сквозь плотные шторы рваными золотистыми полосами, ложась на пол неровными ступенями, будто приглашая куда-то, куда я пока не готова была идти. Активировала браслет — экран вспыхнул мягким голубоватым светом, и в этом холодном сиянии лицо моё на секунду показалось чужим, отстранённым, как будто я смотрела на кого-то другого.

Ну что ж, «дневник жизни» нашла и даже смогла в него зайти. Вместо пароля вход осуществлялся по сканированию лица — быстрый, почти незаметный миг, когда невидимые лучи ощупывали черты, сверяли, подтверждали: да, это она. Очень удобно. От наших социальных сетей всё же отличается: нет сообщений, игр и так всеми любимых лайков. Есть возможность добавить друзей, заходить к ним на страницу и смотреть, как прошёл день друга. Приложение действительно похоже на дневник, который так любят вести подростки на Земле — личный, немного неловкий, полный несмелых признаний и громких обещаний. Можно заходить каждый день или в те дни, когда есть чем поделиться. Выкладывать можно фото, видео и даже текстовые файлы.

Последняя заметка датировалась днём нападения. Фото с припиской: «Улетаю с Океании. Жди меня, Салима!» Планета Салима была последней в списке её путешествия. Мельком просмотрела всё путешествие — страницы листались быстро, как сухие листья под порывом ветра, оставляя после себя лишь смутные образы: яркие рынки, узкие улочки, парящие над землёй платформы, незнакомые лица. Подробно посмотрю позже — надо хоть немного знать планеты и иметь о них представление: чем живут и как. Сейчас хотела больше узнать о самой Валерине. Для себя подчеркнула только сроки: путешествие должно было продлиться около трёх месяцев. На каждой планете они проводили в среднем неделю, плюс время на перелёты. Домой девушка должна была вернуться за пару дней до своего дня рождения — этаким отпуском перед взрослой жизнью. По мне, так она и до этого не особо перетруждалась. Пока жила дома, только и делала, что таскалась по вечеринкам и устраивала их сама. Сплошные праздники и веселье. Валерина всегда была в центре внимания, всегда блистала: самые лучшие и дорогие наряды и украшения. Многие девушки ей завидовали — в их взглядах смешивались восхищение и зависть, как два несовместимых цвета, которые никак не могли слиться в один. Не каждая может позволить себе тратить столько денег. Мать Валерины, Сашрана, входила в совет и была одной из самых богатых женщин планеты. Всё ясно: миры разные, а основы одни. Валерина была золотой молодёжью — не задумываясь, спускала деньги, гуляла и ни о чём не думала.

Так, что тут дальше... Хм... Скрытый файл. Он прятался в углу страницы, неприметный, почти незаметный, как тень в углу комнаты, которую замечаешь, только когда вглядишься. Скрыт для общего доступа. Открыла. Просто текст. Стала читать — и слова будто потяжелели, налились свинцом, стали падать на сознание одно за другим, оставляя после себя горькое послевкусие.

«Я встретила Шамира у туалетов в ресторане. Сначала пожалела, что нет свидетелей, чтоб заснять вступление в семью, но потом была даже рада этому...» Дальше шли строки, от которых по коже пробежал неприятный, колющий холодок, а в груди сжималось что-то тёмное и тяжёлое. Я читала, и перед глазами вставали картины — резкие, угловатые, как осколки стекла: злое лицо Шамира, его пальцы, впивающиеся в шею, глухой стук двери, холод кафельной стены под спиной. Каждое слово звучало как удар, как щелчок затвора, запирающего дверь в прежнюю жизнь.

Сдавил горло ещё сильнее, чтобы я поняла серьёзность его намерений... С этими словами стал срывать с меня одежду. Без нежности, грубо, не спрашивая, он брал то, что ему нужно. К моему ужасу, мне понравилось... Пугало только одно: он вообще мне не подчинялся. Даже в самом малом всегда делал по-своему. Впервые с таким сталкиваюсь... Почему же тогда он так отличается от остальных мужчин?

Очень интересно. Есть над чем подумать. Может, она не всё смогла о нём узнать? Должно быть что-то, что помогло ему не всецело подчиняться женщине. Позже попробую это выяснить.

Ещё один скрытый файл — он лежал чуть ниже, как будто специально прятался за первым, прикрываясь чужой болью. Через пару дней после гибели матери. Получила прощальное письмо — что-то типа завещания. Строки были написаны ровным, уверенным почерком, будто Сашрана знала, что эти слова станут последними, и хотела, чтобы они прозвучали чётко, без дрожи, без лишних эмоций.

«Здравствуй и прощай, дорогая моя доченька! Я всегда тебя оберегала от реалий жизни. Хотела, чтобы ты была счастлива и никогда не познала изнанку нашего благополучия...» Дальше шло перечисление обязанностей, словно список покупок, а не судьба дочери: имущество, управляющий, брат, совет... Каждое слово падало, как камень в тихий пруд, поднимая круги, которые расходились всё дальше и дальше, грозя затопить всё вокруг.

«Ты сможешь занять его после своего второго совершеннолетия. Надеюсь прожить долго, и ты к тому времени будешь уже взрослой женщиной...»

Что?! Я ещё и в совет войти должна?! Я не разбираюсь в политике. К такому жизнь меня не готовила. Может, прошлая Валерина и училась на это, и то не факт, но я-то точно нет!

После письма шли мысли самой Валерины — резкие, обрывистые, как крики в пустой комнате. «Это что за подстава?! Я не хочу всего этого! Сейчас будем упрощать себе жизнь и принимать взрослые решения!» Дальше шёл список, сухой и практичный, как инструкция по сборке мебели: совет — придётся таскаться туда; управляющий — пусть управляет, пока не содохнет; брат — терпеть его не могу...

Господи! Эта девчонка ещё тупее меня в этих вопросах. Сколько матери нет? Девять месяцев. Хорошо, что ещё всё не развалилось. Ничего не делала, только деньги тратить продолжала. Дура безмозглая!

В дверь постучали — стук прозвучал неожиданно громко, как выстрел в тихой комнате, и я вздрогнула, будто меня поймали за чем-то запретным. Экран браслета погас, оставив после себя тёмное зеркало, в котором на секунду мелькнуло моё собственное отражение — усталое, напряжённое, с тенью растерянности в глазах.

— Войдите, — голос прозвучал чуть хрипло, будто я долго кричала и теперь пыталась говорить шёпотом.

В проёме появился Вилл — он стоял, слегка наклонив голову, и в его взгляде читалось осторожное беспокойство, как у человека, который боится спугнуть кого-то хрупкого.

— Простите, что отвлекаю, но нам пора собираться. Если хотим улететь сегодня, у нас два часа, чтобы добраться до космопорта и пройти регистрацию.

— Ох, — подсказываю с кровати, и матрас снова отзывается тихим скрипом, будто неодобрительно вздыхает из-за моей спешки. — Совсем потеряла счёт времени. Конечно, собираемся. Буду готова через десять минут.

Вилл ушёл, прикрыв за собой дверь, а я забежала по комнате, в попытках быстро собраться. Вещи летали из шкафа на кровать и обратно, одежда падала на пол неровными складками, браслеты и цепочки звякали, сталкиваясь друг с другом. Окно отражало мою суету — в стекле мелькала то рука, то плечо, то взметнувшийся подол платья, и всё это сливалось в один стремительный, хаотичный танец, где каждое движение было попыткой ухватить ускользающее время.

ГЛАВА 12

Только поднялась на космический пассажирский корабль — и уже начала нервничать. Не полёт тут причём. Не знаю как, но эти космические громады сделаны лучше наших автомобилей: ни вибрации, ни гула, ни единого толчка — движение ощущалось не как перемещение, а как застывшая, кристаллизованная тишина, будто корабль не летел, а зависал в точке между двумя мирами. Вообще не чувствуешь движения. Смотрела как-то по телевизору про космонавтов — перегрузки, невесомость, тренировки в центрифуге, лица, искажающиеся от давления, — ничего этого здесь нет. Палубы ровные, стены гладкие, свет мягкий, рассеянный, и от всей этой обманчивой, стерильной невозмутимости становилось только тревожнее, потому что спокойствие вокруг не означало спокойствие внутри.

Мой страх обоснован нападениями. Простую хозяйку этого тела убили в космосе — и от этой мысли по спине пробежал холод, не мимолётный, а затяжной, как сквозняк, который просачивается сквозь щель, которую не можешь найти и потому не можешь закрыть. Меня чуть не убили — и воспоминание это вспыхивало в сознании рваными кадрами: грохот, треск переборки, крен, запах гари, руки Билтара, которые подхватили и закинули в капсулу. Смогу ли я на этот раз долететь до Виарана? Буду очень на это надеяться и молиться — и молиться по-настоящему, не фигурально, а с тем отчаянным, почти детским усердием, с каким молятся,

когда другого выхода нет, когда все разумные действия исчерпаны и остаётся только просьба, обращённая в пустоту, в надежде, что пустота услышит.

Корабль стартовал. Ощущение было странное — не толчок, не рывок, а едва уловимое смещение, словно пол под ногами чуть качнулся и тут же замер, и от этого едва заметного движения внутри всё оборвалось: сердце подпрыгнуло к горлу, ладони вспотели, а дыхание перехватило так, будто кто-то сжал горло невидимой рукой. Зашли в одну из кают. Меня била мелкая дрожь — не та, что от холода, а та, что от внутреннего напряжения, когда тело уже не справляется с потоком тревоги и начинает вибрировать, как натянутая струна, которую слишком сильно дёрнули и отпустили. Было страшно — лететь и ожидать нового нападения, и в этом ожидании мучительнее всего была не сама опасность, а её предчувствие: тень, которая ещё не обрела формы, но уже нависла, густая, удушливая, заполняя каждую паузу, каждую секунду тишины.

Мысли переполняли голову — пираты, брат, мужья, освобождение парней, совет и клиника, — всё это крутилось в голове, как на повторе, закольцованное, бесконечное, как мельничное колесо, которое вертится и вертится, перемалывая одно и то же зерно в одну и ту же муку. Надо собраться и решать всё постепенно — но «постепенно» звучало как насмешка, когда проблемы наваливались разом, как волна, которая не даёт выбрать, с чего начать, потому что уже накрыла с головой.

— Где прикажете лечь спать, госпожа? — снова Билтар нетерпеливо забегаёт вперёд. Начинает осуждать раньше положенного, и от этого его тона — язвительного, нарочито почтительного, пропитанного сарказмом так, что каждое слово сочится им, как губка водой, — внутри всё закипело.

— Мы где-то встречались раньше? — решила прояснить этот момент я, и голос прозвучал ровнее, чем ожидала, будто тело само взяло себя в руки, пока разум ещё барахтался.

— Нет, — от моего вопроса он растерялся, и в этой растерянности, короткой, мимолётной, как трещина в маске, мелькнуло что-то настоящее, не выстроенное, не отрепетированное.

— Тогда что я тебе сделала? Я всё понять не могу, — почти кричала. Мне было так обидно — не злость, нет, а именно обида, тупая, ноющая, детская, как от несправедливого наказания, когда знаешь, что не виноват, а тебя наказывают, и нет возможности объяснить, потому что тебя не слышат. Мало ли что он там прочитал в досье. Вживую я его ни разу ничем не обидела. Что он на меня так взъелся? Даже ногой топнуть захотелось для большего эффекта — и от этого нелепого, почти смешного порыва внутри что-то дрогнуло, потому что в ситуации, где всё было тяжёлым и тёмным, это желание топнуть ногой было самым живым, самым настоящим, самым человеческим.

— Встретилась на моём пути, — с какой-то горечью выплюнул он, и слово «встретилась» прозвучало не как «познакомились», а как «попалась», как «встала поперёк», как «помешала», и от этого смысла внутри всё перевернулось.

Ах вот оно в чём дело! В притяжении. Я не предел его мечтаний! Да пожалуйста, пусть катится! Держать не буду. И от этой мысли — не облегчение, а горечь, густая, тёмная, как чёрный кофе, который пьют не ради вкуса, а ради того, чтобы не уснуть, не сдаться, не опустить руки. Активирую браслет и ввожу код от его ошейника. Тот пиликнул — короткий, безразличный звук, похожий на последний выдох — и упал к ногам Билтара. Он проводил его взглядом — и в этом взгляде, медленном, тяжёлом, читалось нечто большее, чем удивление: потрясение, смешанное с чем-то, что он сам, вероятно, не мог назвать, и от этой эмоции стало одновременно больно и легко, как бывает, когда срываешь повязку с раны: больно — потому что рана открыта, легко — потому что повязка больше не давит.

— Соседняя каюта и две напротив — наши. Можешь выбрать любую. Ты свободен, как я и обещала. Можешь идти куда хочешь и делать что хочешь. Больше не задерживаю. И до конца полёта видеть тебя не горю желанием, — проговариваю ровным голосом, вкладывая в

каждое слово столько льда, сколько только возможно, но лёд этот — не от равнодушия, а от самозащиты, потому что если убрать лёд, под ним — обида, горячая, жидкая, и она затопит всё, если дать ей хоть щель.

Отворачиваюсь. Осматриваюсь, вижу кресло и направляюсь к нему — ноги чуть подкашиваются, и каждый шаг даётся с усилием, будто пол наклонился, как палуба корабля в крен. За спиной открывается и закрывается дверь. Ушёл. И от этого тихого, аккуратного щелчка замка внутри что-то надломилось — не с треском, а тихо, как надламывается ветка под снегом: сначала чуть, потом сильнее, и потом — либо выдержит, либо нет.

Села в кресло и деактивировала ошейники парней — браслет пиликал дважды, и каждый звук был похож на маленький, сдавленный вскрик свободы, которая пришла не с фанфарами, а с тихим щелчком, и от этой тихости свобода казалась не победой, а уступкой, не даром, а побегом.

— Вы тоже можете занять свои каюты. Будут вопросы или нужна будет помощь — обращайтесь. Мои двери для вас всегда открыты. Вилл, у меня к тебе будет просьба: поможешь Билтару с ранами? Надо же его долечить, — не смогла полностью вычеркнуть его из своей жизни, и от этого «не смогла» внутри горело — не огнём, а тлением, тихим, упрямым, как уголёк, который не гаснет, сколько его ни засыпай.

— Да, конечно, я всё сделаю, — тут же отозвался он, и в его голосе звучала не просто готовность, а благодарность — тихая, неназванная, которую он не умел выразить словами, но выражал тоном, интонацией, тем, как быстро и безоговорочно согласился.

— Спасибо. Я бы хотела несколько часов побыть одна, — деликатно намекнула, что им пора, и слово «одна» прозвучало не как просьба, а как признание, потому что «одна» — это не то, чего хотелось, а то, что было нужно, чтобы не расплакаться при них.

Парни поняли и покинули мою каюту. Дверь закрылась, и в комнате стало тихо — та особая, гулкая тишина, которая наступает, когда уходят последние люди и остаются только стены, воздух и ты.

Сижу — реву. Не тихо, не красиво, не как режут в кино, когда по щеке скатывается одна слеза, а по-настоящему: плечи трясутся, дыхание рвётся, слёзы текут по щекам горячими, солёными ручьями, и каждая капля — маленький, жгучий кусок боли, который выходит наружу, потому что внутри ему больше нет места. Жалею себя — и от этой жалости стыдно, но не остановиться, потому что жалость — это то единственное, что сейчас согревает, единственное, что хоть как-то заполняет пустоту внутри. Жалею мужчин, которые по стечению обстоятельств стали мне родными, не подозревая об этом, — и от слова «родные» внутри всё сжимается, потому что родные — это не те, кого выбрали, а те, кого жизнь связала с тобой, хотела ты этого или нет, и от этой связи не отрезать, не оторвать, не забыть, как не забыть собственное имя.

Как же сложно нам всем будет. Я даже не представляла, с чего начать, чтобы попробовать наладить с ними отношения. Боюсь, простых извинений будет мало — и от этого «боюсь» внутри всё сжималось, потому что извинение — это слово, а за этим словом — целая жизнь унижений, растоптанного достоинства, стёртой в пыль гордости, и как одним словом залатать то, что рушилось годами? Не знаю, какая каша была в голове этой куклы, раз она смогла такого наворотить.

Я дочитала про брата. Она не стала делиться наследством. Отправила работать прислугой к одной из членов совета. Уйти он сможет, только когда встретит единственную. Если та его примет в семью. Тут его шансы равны нулю. Во-первых, сидя в четырёх стенах, это практически нереально. А во-вторых, он сможет предложить ей только то, что успеет заработать. Это ничтожно мало и, скорее всего, получит отказ. Не знаю как, но сделаю всё, чтобы его вернуть. Просто забрать не получится — он преподнесён как знак почтения. Звучит высокопарно. По-простому — Нилла просто подарили. Радует, что хоть зарплату платят, и от этого «радует» стало горько, потому что радоваться тому, что человеку хотя бы платят за его труд,

— это уже признание, что мир настолько перекошен, что нормальное кажется благом, а благо — недостижимым чудом.

Про мужей вообще молчу. Нашла видео о вступлении в семью — и экран браслета осветил лицо холодным, мертвенным светом, от которого глаза слезились, но я смотрела, не отрываясь, не моргая, потому что отвернуться означало бы не видеть, а не видеть — означало бы не знать, а не знать — означало бы не понять. Первого заставила целовать ноги при целой улице народа — и от зрелища этого внутри всё скрутилось в тугой, горящий узел: человек на коленях, на земле, перед толпой, и каждый в толпе — свидетель, и каждый свидетель — соучастник, потому что смотрел и не отвернулся, не остановил, не сказал «хватит». Второго — ползти за ней на коленях и восхвалять её. Не знаю, сколько он полз, для меня показалось вечностью. На каждый его шаг из глаз скатывалось по слезинке, и слезинки эти были не за него — за всех, за целый мир, в котором это возможно, нормально, обыденно, в котором человек ползёт по земле перед другой, и никто не кричит «стойте», никто не хватается за руку, никто не закрывает камеру. Когда видео закончилось, слёзы хлынули ручьём — не от жалости, нет, а от осознания общей картины её жизни, от понимания, что эти видео — не эпизоды, не случайности, а суть, и суть эта — жестокость, бездумная, бесконтрольная, как стихия, которая не знает, зачем разрушает, но разрушает, потому что может.

Страшно представить, что она могла бы наворотить, если бы прожила лет сорок или больше. А из файла о третьем муже можно почерпнуть ещё и о супружеском долге, который исполняла через раз, а потом и вовсе перестала. О какой любви может идти речь? Там и дружбой с уважением не пахнет. Если и дома чудила, то вообще только на ненависть можно рассчитывать. Если бы не притяжение, мужа были бы первыми в списке тех, кто желал её смерти. Так хочется воскресить эту пигалицу и самому убить её. Может, и не раз, — и от этой мысли внутри стало тихо, не спокойно, а именно тихо, как становится тихо после бури, когда всё уже сказано, всё уже выплакано, и остаётся только усталость, густая, тяжёлая, как мокрый снег.

Пока оплакивала свою будущую «счастливую» жизнь, поняла, что пора ложиться спать. Мальчики не стали меня трогать и дали время до утра — и от этой деликатности, от этого ненавязчивого, тихого присутствия за стеной стало чуточку теплее, как становится теплее, когда знаешь, что за дверью есть кто-то, кто не побеспокоит, но и не бросит. Ужин можно заказать прямо в каюту, еда оплачена на весь срок полёта. Поэтому меня не стали тревожить и дали время отдохнуть, и от этого «дали» — благодарность, тихая, безмолвная, которую я не могла высказать, но чувствовала каждой клеткой.

Не раздеваясь, легла на кровать, свернувшись калачиком — поза маленького, испуганного зверька, который сворачивается, чтобы защитить самое уязвимое, живот, сердце, всё мягкое, незащищённое, что можно ранить. Одеяло натянула до подбородка, и ткань пахла чем-то нейтральным, казённым, не своим, не чужим, просто — ничьим, и от этого запаха стало ещё более одиноко, потому что запах — это первое, что напоминает о доме, а здесь ничто не напоминало, и от этого «ничто» внутри раскрывалось, как чёрная дыра, которая не затягивает, а просто есть, и от её присутствия — не больно, а пусто.

Морально вымотана до предела — до того состояния, когда усталость перестаёт быть ощущением и становится фоном, ровным, глухим, как белый шум, который заполняет всё, не выделяясь, не пульсируя, а просто существуя, и ты существуешь вместе с ним, и нет сил ни сопротивляться, ни сдаваться, ни даже заметить разницу.

Сколько я здесь? Если считать те два дня, что провела в капсуле на лечении... то получается пять дней. Кажется, прошло несколько лет — и это не преувеличение, а факт, потому что пять дней назад я была другим человеком, жила другой жизнью, знала другие правила, и с тех пор всё перевернулось, перемешалось, перекрутилось, как кубик Рубика в руках ребёнка, который крутит и крутит, а собрать не может, и каждая грань — чужая, и каждый цвет — не на месте.

Пока обдумывала: как быть, что делать и с чего начать — провалилась в беспокойный сон. Не в сон — в провал, тёмный, тяжёлый, как обморок, без снов, без образов, без того мягкого перехода, когда сознание гаснет постепенно, как догорающая свеча. Просто — выключилось. И в этой темноте не было ни покоя, ни отдыха — только глухое, вязкое небытие, которое держало, не отпускало, и от которого нельзя было проснуться, а можно было только вынырнуть, рывком, как выныривают из воды, когда лёгкие уже горят и воздух — единственное, о чём можешь думать.

Либо мои злопыхатели не знают, где я, либо не стали убивать вместе со мной множество ни в чём не повинных людей. Иначе как объяснить, что я всё-таки долетела до Виарана! — и от этой мысли внутри разливалось что-то горячее, жидкое, похожее на облегчение, но не совсем оно, потому что облегчение — это когда отпускает, а тутне отпускало, а лишь чуть ослабило хватку, как рука, которая устала сжимать, но не разжалась, и в любой момент могла сжаться снова.

Полёт прошёл спокойно — и от этого слова «спокойно» внутри каждый раз вздрагивало, потому что спокойствие было обманчивым, натянутым, как тонкий лёд над тёмной водой: держит, но не известно, сколько ещё продержит. С Виллом и Марком гуляли по кораблю — длинные, одинаковые коридоры тянулись бесконечными трубами, стены мерцали ровным матовым светом, и от этого мерцания создавалось ощущение, что корабль дышит — медленно, ровно, как спящий зверь, которого лучше не будить. Ходили обедать и ужинать в общую столовую — просторную, светлую, с круглыми столами, покрытыми скатертями приглушённого синего цвета, и от этого синего в помещении было прохладно, спокойно, будто пространство само задавало ритм: не торопись, не кричи, не бойся. Вилл ел с тем тихим, сосредоточенным усердием, которое выдаёт человека, привыкшего к тому, что еда может исчезнуть в любой момент, и потому каждый кусок — как последний. Марк, наоборот, ел медленно, будто пробуя на вкус не столько еду, сколько свободу, и от этого зрелища внутри ёкало — не от жалости, а от нежности, внезапной, острой, как укол, от которой не успеваешь увернуться.

Билтар ко мне не подходил, но видела, как он наблюдает за мной издалека — не прямо, не открыто, а краем глаза, из-за угла, из-за спин прохожих, и этот взгляд, ускользающий, почти незаметный, ощущался кожей, как ощущение чужого присутствия в пустой комнате: никого нет, но ты знаешь, что кто-то есть, и от этого знания — не страх, а тупая, ноющая тяжесть где-то под рёбрами. После того, что увидела в дневнике жизни, на Билтара обиду я не держу. Действительно трудно поверить, что такая девушка могла измениться. Попросится в семью — приму. А нет — так нет. И так проблем предостаточно, и каждая проблема — как кирпич в рюкзаке: сам по себе не тяжёлый, но когда их десятки — спина сгибается, и не разогнуться, потому что некуда поставить рюкзак, и некому помочь снять.

Нас встретили — и встреча эта была не тёплой и не холодной, а казённой, протокольной, с тем безупречным равнодушием, которое бывает у людей, выполняющих инструкцию: встретить, проводить, доложить. Под конвоем — слово-то какое, конвой, будто не гражданское лицо, а преступница, и от этого слова внутри всё сжалось, но промолчала, потому что спорить с системой — всё равно что спорить с погодой: бесполезно и унижительно. Повели к начальнику космопорта, в кабинет — коридоры административного здания были, вылизаны, пахли чем-то казённым, антисептическим, и от этого запаха вспоминалось больница, и от воспоминания — холодок, который пробегал по спине, как тонкая, ледяная игла.

Вошли вчетвером — я, Вилл, Марк и Билтар. Конвой остался по ту сторону двери, и от этого — будто граница прошла не через комнату, а через нас: мы здесь, они там, и дверь между — не деревянная, а невидимая, выстроенная из правил, статусов, иерархий, которые определяют, кто входит, а кто остаётся. Мне предложили присесть — и от этого «предложили»

повеяло такой обволакивающей, масляной учтивостью, что захотелось встать и уйти, потому что учтивость эта была не от уважения, а от привычки, и привычка эта — не ко мне, а к креслу, к должности, к тому месту, которое я, по их представлениям, занимала.

Начальник тоже сел — уверенно, с тем хозяйским спокойствием, которое выдаёт человека, привыкшего к тому, что кабинет — это его территория, и все, кто входит, — гости, а гость не диктует правила. Остальные остались стоять, и от этого контраста — сидящая я и стоящие мужчины — внутри что-то дёрнулось, потому что картина была знакомой, но перевёрнутой: обычно мужчины стояли на коленях, а тут — просто стояли, и от этой разницы между «на коленях» и «просто стоят» было не легче, а тревожнее, потому что стоять перед сидящей женщиной — тоже форма подчинения, только мягче, завуалированное, и от этой мягкости — не свобода, а её иллюзия.

И тут я заметила: с правой стороны, у стены, стояли мои мужья. Сердце забилося быстрее — не быстрее, а гулче, как будто не сердце, а барабан, по которому ударили, и удар отдался во всём теле: в горле, в кончиках пальцев, в коленях, которые вдруг стали ватными. Я знала, что они должны меня встретить, но всё равно не была к этому готова — не готова к их лицам, к их взглядам, к их присутствию, которое ощущалось как давление, ровное, неуклонное, как атмосферное, которое не чувствуешь, пока не попробуешь. Они стояли тихо, неподвижно, и в этой неподвижности было что-то от ожидания, но не от надежды — от привычки ждать, что решат за них, как всегда, как всю жизнь, и от этой привычки внутри ныло так, что хотелось кричать, но кричать было нельзя, и потому я молчала, и молчание это было тяжелее любого крика.

— Рад, что вы, виа Валерина, всё же живы и здоровы. Рад, что наконец-то добрались до дома, — начал расшаркиваться и петь дифирамбы мужчина, и от этих дифирамбов внутри закипало — не злость, а нетерпение, густое, горячее, как чай, который перестаёт завариваться и начинает горчить. — Мы все переживали за вас, виа Валерина. Делали всё возможное, чтобы спасти и доставить домой, — начал утомлять. Перешёл бы к делу побыстрее. А то распинаятся, как перед президентом. — Готов выслушать все ваши претензии и пожелания. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы выполнить все ваши требования.

Ого! Это так относятся ко всем женщинам или к членам совета? А может, пока я пыталась выжить, меня королевой успели сделать? Ха-ха-ха. И от этого внутреннего смеха стало чуть легче — не по-настоящему, а на секунду, как становится легче, когда человек, который долго плакал, вдруг улыбнётся: улыбка не отменяет слёз, но даёт передышку, и в этой передышке — глоток воздуха, которого хватит ещё на один вдох, ещё на одну минуту.

— Некоторым членам команды военного бомбардира удалось уцелеть, и я уже ознакомился со всеми отчётами. В том числе и военного врача Кеннета, — и от этих слов внутри что-то дрогнуло, не от страха, а от благодарности — Кеннет, жив, и от этой новости тепло разлилось по груди, тёплое, ровное, как первый весенний луч, который не греет, но обещает, что тепло придёт. За спиной кто-то шевельнулся. Билтар? — и от этого шевеления, едва уловимого, почти невидимого, внутри натянулось, как струна, которая ждёт прикосновения, но не знает, будет ли оно мягким или жёстким.

— Все, кто так или иначе подверг вас, виа Валерина, опасности, понесут заслуженное наказание. Даю вам слово, — ну всё, надоело это слушать. Ещё немного — и всю планету по кирпичику разберут мне на благо, и от этой мысли — не смех, а усталость, потому что «на благо» звучит как «в ущерб», и каждый кирпич, снятый с планеты ради моего блага, — это чья-то судьба, чья-то вина, чьё-то наказание, и я не хочу, чтобы ради меня наказывали, потому что я уже видела, как выглядит наказание: избитая спина, кнут, столб, и стон, который не можешь сдержать, и от этих воспоминаний — горько, и горечь эта не проходит, а оседает, как осадок на дне чашки, который не выпить и не вылить, он просто есть, и с ним — живёшь.

— Не думаю, что в повторном нападении виноват кто-то из членов команды, — заговорила, чтобы остановить его, и голос прозвучал твёрже, чем ожидала, будто кто-то другой говорил моим ртом, кто-то более уверенный, более собранный, та часть меня, которая не плакала в каюте, а которая — командовала, решала, действовала. — Думаю, в той ситуации они сделали всё, что в их силах, чтобы спасти мне жизнь. И как видите — я здесь. Нас случайно забросило на Скарту, но командир военного корабля Билтар Орд сделал всё, чтобы доставить меня домой. Все рисковали жизнями, спасая меня. Думаю, стоит представить к награде всех членов команды. Жалоб и предложений у меня нет.

После моей пламенной речи у всех пооткрывались рты — и от этого зрелища, от этих приоткрытых ртов, округлённых глаз, застывших лиц, внутри мелькнуло что-то похожее на мрачное удовлетворение, не злорадство, нет, а усталую радость человека, который наконец сказал то, что думал, и от этого «сказал» — полегчало, не намного, но достаточно, чтобы дышать стало чуть свободнее. Наверное, я перестаралась. Пора сворачивать этот разговор.

— У вас остались ещё вопросы ко мне?

— А? Да-да, один, — он прочистил горло, и от этого «прочистил» повеяло неловкостью, как от человека, который заготовил речь, но речь пошла не по плану, и теперь он лавирует, пытаясь вернуться к заготовленному, а заготовленное — уже не подходит. — Вы селились на пассажирский корабль с тремя рабами. Как вам известно, у нас рабство запрещено. Могу я поинтересоваться о судьбе этих мужчин?

Черт! Теперь ясно, как они узнали, что я прилетаю. По общей базе увидели регистрацию на рейс. Значит, он знает, что Билтар числился рабом. Что делать? Буду увиливать и изворачиваться, и от этого решения внутри всё сжалось, потому что увиливать — не в моём характере, но характер — роскошь, которую не всегда можешь себе позволить, особенно когда на кону — чужая свобода, и не абстрактная, а конкретная, с именами, лицами, шрамами на спине. А там пусть без меня остальное решают.

— Так сложились обстоятельства. И я прекрасно знаю о наших законах. Как только взлетели, я сразу же всех освободила. Двое пожелали работать у меня. Третий ушёл, — смотрю, улыбаюсь. Все молчат, и в этом молчании — не согласие, а пауза, в которой каждый переваривает услышанное, и от этой паузы — напряжение, густое, тяжёлое, как предгрозово́й воздух, который звенит и не разряжается. — Если это всё, то я бы хотела домой. Последняя неделя была сложной. Хочу отдохнуть.

— Конечно, не смею вас больше задерживать. С остальным разберусь сам, — заверил меня. Мне вообще фиолетово, может и не разбираться, и от этого «фиолетово» — не равнодушие, а усталость, потому что усталость — это когда нет сил даже на равнодушие, и «фиолетово» — не позиция, а её отсутствие, пустота, в которой ничего нет, даже безразличия, и от этой пустоты — не страшно, а просто тихо, как тихо в комнате, из которой вынесли всю мебель: отголоски гуляют по стенам, но отражаться не от чего, и звук гаснет, не родившись.

— До свидания, — встала и направилась на выход, и каждый шаг к двери ощущался как шаг к чему-то — не к свободе, нет, свобода была иллюзией, а к следующему этапу, к следующей комнате, где снова будут сидеть, стоять, говорить, решать, и от этой перспективы — не страх, а усталость, глубокая, костная, и от неё — ноги двигались, но медленно, будто шли не по полу, а по воде, которая сопротивляется, не пускает, тянет вниз, и каждый шаг — усилие, и каждый шаг — вперёд, и вперёд — единственное направление, которое осталось.

ГЛАВА 13

В коридоре остановилась — ноги будто приросли к полу, а в голове звенело от пустоты: я понятия не имею, куда идти. И спросить не могу, не выдав себя, не показав всем, что я здесь чужая, что в этом теле — не та, кем все меня считают, и даже стены, гладкие и холодные,

смотрят на меня с молчаливым недоверием. Поймала понимающий взгляд Вилла — в нём не было ни осуждения, ни любопытства, только тихая готовность подхватить, если я вдруг рухну.

— Виа Валерина сильно утомилась, вы как мужья должны помочь и как можно быстрее доставить её домой, — пришёл он мне на выручку, и голос его прозвучал ровно, твёрдо, без подобострастия, но с той спокойной властью, которая не требует подтверждения: её просто принимают как факт. Довериться Виллу было самым правильным решением во всей моей жизни — не потому, что он знал ответы на все вопросы, а потому, что рядом с ним не нужно было притворяться, будто знаешь их сама. Он понимал с полуслова и всегда выручал — и в этом понимании было столько тепла, что оно пробиралось сквозь броню, которую я пыталась на себя натянуть.

Мужья встали по обе стороны от меня — не слишком близко, чтобы не давить, но достаточно, чтобы я чувствовала их присутствие, как чувствуют тепло очага в промозглый вечер. Я подхватила их под локти — пальцы чуть дрогнули, когда коснулась ткани их рукавов, но я сжала крепче, будто эти руки были канатами, которые удерживали меня над пропастью. Вся наша компания чинно двинулась к выходу — и от этой чинности, от этого нарочитого спокойствия, в котором каждый шаг был выверен, каждый взгляд направлен вперёд, а не по сторонам, становилось даже страшнее: будто мы шли не по коридору, а по сцене, где за каждым нашим движением следили невидимые зрители, оценивали, судили, запоминали.

Не прошли и пяти шагов, как меня окликнул Билтар. Его голос прозвучал негромко, но резко, как щелчок замка, который распаивает дверь, которую ты надеялся не открывать.

— Виа Валерина! Могу я с вами поговорить? — видно, нервничает: в голосе — лёгкая хрипотца, будто он долго молчал, а теперь слова даются с усилием, и каждое — как шаг по тонкому льду.

Остановилась и повернулась к нему лицом. В его глазах читалась борьба — не с собой, нет, а с чем-то большим, с тем, что стояло между нами, как стена, и которую он собирался либо разрушить, либо разбиться о неё.

— Говорите. Я слушаю, — смотрю в глаза и улыбаюсь — не широко, не радостно, а так, чтобы улыбка была щитом, не приглашением, а границей.

— Я бы хотел поговорить наедине, — понижает голос и делает акцент на последнем слове, и от этого «наедине» по коже пробегает лёгкий холодок: не страх, а предвкушение, острое, как лезвие, которое ещё не коснулось, но уже обещало боль или освобождение.

Ооо, всё-таки решился попроситься в семью. Не хочет позориться при посторонних — и от этого понимания внутри шевельнулось что-то тёплое, не жалость, а уважение: он не хотел выставлять свою просьбу напоказ, хотел, чтобы она прозвучала не как требование, а как признание, как шаг, который даётся нелегко. Конвой так и продолжал стоять у двери — неподвижные, безликие фигуры, похожие на статуи, которые забыли, что они не камень. Что ж, посмотрим, насколько у него серьёзные намерения. Не стану упрощать задачу.

— Я очень устала и хотела быстрее вернуться домой, — вежливо улыбаюсь, но в улыбке нет мягкости, есть сталь, тонкая, но ощутимая. — Говорите здесь. У меня нет секретов от мужей.

— Я... — делает глубокий вдох, будто собирается нырнуть в ледяную воду, и словно в омут с головой бросается: — Прошу принять меня в семью! — выпаливает, нажимая на свой браслет. Тут же слышится трель моего собственного браслета — короткий, резкий звук, похожий на вскрик, который тут же оборвали, и от него по позвоночнику пробежала дрожь.

На браслет даже не смотрю. Вместо этого протягиваю Билтару руку — ладонь раскрыта, беззащитна, но в этом жесте — власть, и он это понимает. Он смотрит на неё как на змею: будто боится, что она укусит, или что, взяв её, он подпишет какой-то негласный договор, из которого уже не выйти. Но всё же берёт в свою большую ладонь — рука у него тёплая, тяжёлая, мозо-

листая, и от этой тяжести, от этой настоящей, рабочей грубости на секунду стало спокойно: вот оно, настоящее, не из церемоний, не из статусов, а из жизни.

— Принимаю, — произношу всего одно слово, и его хватает, чтобы воздух в коридоре будто сгустился, стал плотнее, насыщеннее, как перед грозой, когда тишина звенит от напряжения. У мужчины расширяются глаза от шока и неверия — в них мелькает что-то похожее на облегчение, смешанное с недоверием: неужели так просто? Неужели не будет условий, унижений, испытаний?

Высвобождаю руку и вновь подхватываю мужей под руки — пальцы снова сжимаются на их локтях, и этот контакт, привычный, тёплый, возвращает меня в реальность, где есть не только решения и слова, но и шаги, и дыхание, и тепло живых людей.

— А теперь — домой! — произношу бодро, будто в этом слове — вся моя сила, вся решимость, и двигаюсь с места, и каждый шаг отдаётся в груди не болью, а облегчением: я приняла решение, и оно принято, и теперь можно идти дальше.

Выйдя на улицу, застываю на месте — и мир будто на секунду перестаёт вращаться. Невероятно! Я в сказке — не в той, где принцессы ждут спасения, а в той, где сама земля дышит спокойствием и красотой. Вокруг — множество разнообразных кустов и деревьев: одни — с листьями, похожими на тонкие перья, другие — с глянцевыми, почти зеркальными пластинами, третьи — с цветами, которые раскрываются, словно маленькие звёзды. Современные строения — гладкие, серебристые, с плавными изгибами, будто отлитые из жидкого света — гармонично сочетаются с буйством зелёных красок, создавая впечатление, что эти высокие здания проросли из-под земли вместе с деревьями, как продолжение леса, его каменная ветвь.

Ярко светит солнце — или то, что здесь вместо него: не ослепительное, не жгучее, а мягкое, золотистое, словно сотканное из шёлка. Лучи играют в кронах деревьев, рассыпаются на тысячи бликов, скользят по фасадам, превращая металл в жидкое золото. Всё, что я вижу, просто не передать словами — это не просто красиво, это как будто мир решил показать себя с лучшей стороны, будто хотел сказать: «Посмотри, как мы можем быть добрыми». Нет ни заводов, ни смога — по крайней мере, глазу не видно, и от этого отсутствия привычной серости, этой тяжёлой пелены, которая всегда висела над городами, становилось легче дышать, будто лёгкие впервые за долгое время расправились до конца. Воздух был свежим, чуть сладковатым, с лёгкой примесью цветочных нот, и каждый вдох казался подарком, который я не заслужила, но который всё равно принимала, жадно, благодарно, как человек, который долго был в темноте и наконец вышел к свету.



Оторвалась от созерцания — и вернулась в реальность резко, как выныривают из тёплой воды в прохладный воздух, когда кто-то окликает по имени. Это был Рик, один из мужей, и голос его звучал не раздражённо, а деловито, будто он не замечал всей этой красоты, а видел только задачу, которую нужно решить.

— Мы не рассчитывали на такое количество виаранцев и скартанцев. Нам сообщили только о жене. Нужно вызвать ещё один мобиль, — произнёс он, и в этих словах прозвучала не забота, а привычная, выстроенная годами логика: план, ресурсы, распределение. Оказывается, здесь нет понятия «люди», есть только понятие граждан определённой планеты — такое как «виаранец». Ставлю себе мысленную заметку, и эта заметка легла в сознание не как строчка в дневнике, а как маленький, твёрдый камешек: простой, но осязаемый, напоминающий, что я здесь чужая, и даже язык у этого мира свой, и его нужно учить, чтобы не спотыкаться на каждом слове.

— Не стоит, — парировал Билтар, и в его голосе прозвучало не желание помочь, а уверенность человека, который знает, что может справиться сам, и не хочет зависеть от чужих решений. — Мой стоит на стоянке. Мы полетим вслед за вами.

Полетим? Опять! — и внутри на секунду шевельнулось что-то похожее на панику, но тут же отступило, потому что «полетим» здесь означало не вырваться в космос, не почувствовать

невесомость, а просто подняться на несколько метров и поплыть над землёй, как лодка по спокойной воде. Волновалась зря. Мобиль летает исключительно в пределах планеты, не выше двадцати метров — и от этого ограничения, такого простого и земного, стало спокойнее: небо здесь не враг, оно просто потолок, невысокий, безопасный.

Пока летели, продолжала рассматривать красивые виды — они тянулись бесконечной лентой под нами: столько зелени и чистейших водоёмов, будто мы летели над заповедником, где природа сохранилась в первозданном виде, не тронутая ни машинами, ни дымом, ни спешкой. Вода в озёрах и реках была такой прозрачной, что казалось, будто её вообще нет, а есть только отражение неба и деревьев, лёгкое, зыбкое, как сон. Сам мобиль был стального цвета, формой напоминал яйцо — гладкое, обтекаемое, без лишних углов, будто его не сконструировали, а вырастили, и от этой плавности, от отсутствия острых граней становилось легче: мир вокруг был устроен так, чтобы не ранить, не царапать, не напоминать о жестокости.

Перед домом я опять ненадолго зависла — и время будто замедлилось, растянулось, как тёплая карамель, в которой можно утонуть. Потрясающий, белоснежный двухэтажный дом. Я влюбилась в него с первого взгляда — не как в вещь, не как в строение, а как в обещание: здесь можно дышать, здесь можно быть собой, здесь не нужно прятаться. Нет привычных заборов, нет жёстких форм, разделяющих «своё» и «чужое». Дом сочетал в себе металл и стекло — холодные, твёрдые материалы, которые здесь казались мягкими, почти живыми. Стены практически полностью стеклянные, и сквозь них дом выглядел прозрачным, открытым, будто не защищался от мира, а приглашал его войти. По окружности двух этажей тянулись террасы — овальной формы, но не совсем ровной, с лёгкими изгибами, будто их рисовали рукой, а не чертили по линейке. А вокруг — полно зелени, густой, сочной, живой, и от этого казалось, что дом находится не в городе, а на лесной поляне, где деревья сами выбрали, где расти, и дом просто встал рядом, не нарушая их порядка. О таком можно только мечтать — и от этой мечты, ставшей реальностью, внутри всё сжималось от странного, почти болезненного счастья: неужели это моё? Неужели я могу просто войти и сказать: «Это мой дом»?

Ещё один шок ждал меня внутри — не от роскоши, не от богатства, а от света и тишины. Белоснежная гостиная — стены, пол, мебель — всё было белым, не стерильно-больничным, а живым, тёплым, будто цвет впитал в себя солнечный свет и теперь отдавал его обратно. Сквозь панорамные окна проникало много света от местного светила — он лился широкими, золотистыми потоками, разбивался на блики, скользил по поверхностям, превращая комнату в живую картину, где каждый угол был наполнен движением. Белый диван буквой Г будто приглашал сесть, обнять его, спрятаться в его мягких объятиях. Напротив — длинная овальная тумба, над ней... будем считать, что телевизор, хотя форма у него была непривычная, плавная, почти скульптурная, и он не выглядел как техника, а скорее как часть интерьера, как деталь, которая здесь была всегда. У дивана — стеклянный столик, прозрачный, невесомый, будто парящий в воздухе. Отдельно стояли кресла — строгие, но уютные, с округлыми спинками, словно созданные для того, чтобы в них можно было сидеть часами, смотреть в окно и ни о чём не думать.

Всё просто сияло чистотой и белизной — не холодной, отталкивающей, а тёплой, гостеприимной, будто дом сам хотел сказать: «Ты дома, тебе здесь рады». В таком доме страшно ходить — вдруг что-то испачкаешь, оставишь след, который не стереть, и этим следом разрушишь всю эту хрупкую, безупречную красоту. Как же они поддерживают такую чистоту? — во мне, как всегда, заговорила практичность, и этот голос был не злым, не разрушительным, а просто моим, привычным, тем, который всегда напоминал, что за красотой стоит труд, за лёгкостью — усилия, за совершенством — сотни маленьких действий. Мне всегда казалось, что белые вещи остаются белыми первые пару часов, а потом появляется серый оттенок, и что бы ты ни делал, от него не избавиться — и от этого внутреннего спора между восхищением и

скепсисом стало чуть легче, потому что я снова была собой, не той, кем меня считали, а той, кто замечает детали, кто думает не только о прекрасном, но и о том, как это прекрасное сохранить.





Не зря говорят: бойтесь желаний своих. Я как никто могу подтвердить это высказывание. Хотя... если подумать, то я бы сказала иначе: следите за словами, которые вылетают из ваших уст. Сто раз подумай, прежде чем сказать. Вот это будет гораздо ближе к моей ситуации. Но в пылу ссоры и зашкаливающих эмоций трудно подбирать слова — они рвутся наружу, как искры из костра, который раздували слишком долго, и каждая искра — маленький, жгучий пожар, который ты не можешь остановить, потому что руки заняты — одной ты держишься за обиду, другой — замахиваешься, чтобы ударить побольнее.

Я была так зла. Предательство самых близких людей нанесло мне огромную рану на сердце — не порез, не царапину, а именно рану, глубокую, рваную, с неровными краями, которые не смыкаются, сколько ни дави, и от каждой мысли о случившемся края расходятся снова, и боль возвращается, свежая, как в первую секунду. Душа болела и разлеталась на осколки, как и многолетнее семейное счастье — не разбилась, нет, а именно разлетелась, будто хрустальная ваза, которую уронили не случайно, а швырнули, и осколки разлетелись по полу, и каждый — острый, режущий, и каждый — часть чего-то, что уже не собрать, потому что даже если склеить, швы останутся, и ваза будет пропускать свет сквозь трещины, и будет ясно: она была целой, но больше — нет.

Желая уколоть мужа побольнее, чтобы он ощутил хоть сотую долю той боли, что рвала меня на части — и от этого желания не стыдно, а горько, потому что желание это — не злость, а крик, последняя попытка достучаться, сказать: «Смотри, как больно! Видишь?! Хотя бы сотую долю! Хотя бы каплю из этого моря!» Тогда и прозвучали эти судьбоносные слова.

«Ты тоже не предел мечтаний. Ты старый лысеющий толстопуз! Я, может, тоже не горю желанием лечь с тобой в одну постель! Я тоже хочу спать с молодым, красивым и накачанным парнем! А может, и не с одним!»

Да, я была чертовски зла. Но это не являлось моим желанием — не настоящим, не тем, что живёт глубоко, на дне, под всеми слоями злости и боли, где прячутся истинные слова, а ложные — всплывают. Но все равно исполнилось, и от этого «исполнилось» внутри что-то застыло, как застывает вода, которую бросили в мороз: сначала — жидкая, подвижная, а потом — твёрдая, неподвижная, и уже не растает, сколько ни грей.

И вот. Сажу на белоснежном диване — обивка мягкая, податливая, но я сажу напряжённо, как напряжённо сидят на краешке стула перед экзаменом, когда тело — деревянное, а дыхание — мелкое, и каждый вздох — как последний. Передо мной стоят пять молодых, красивых и спортивных мужчин — плечи расправлены, подбородки подняты, и от этой выправки, от этой ровной, почти строевой позы веет чем-то казённым, будто они не люди, а экспонаты, выставленные в ряд для осмотра. Они готовы исполнить любые мои желания — от мелких капризов до больших хотелок, и от этой готовности, от этой безоговорочной, немой покорности внутри поднимается не радость, а тошнота, потому что покорность — не счастье, а клетка, только клетка не из прутьев, а из вежливости, и решётки этой не видно, но она есть, и от неё — не уйти, не отвернуться, не сделать вид, что её нет.

И что мне прикажете с ними делать? Как себя вести? Что говорить? Очень хочется сбегать и как можно дальше — туда, где нет белоснежных диванов, нет красивых мужчин, нет чужих ожиданий, есть только тишина и я, и в тишине — можно подумать, а подумать — надо, потому что то, что я скажу в следующую минуту, определит всё: как они будут смотреть на меня, как будут слушать, как будут жить — со мной или рядом, но не с. Но проблема в том, что мужчины теперь зависят от меня. Я не имею права бросить на произвол судьбы пять зависящих от меня судеб — и это не высокопарные слова, а горькая правда жизни. Их жизни. У таких самодостаточных мужчин нет ни гроша за душой и нет права голоса. По закону планеты Виаран всё своё имущество они отдали мне — и от этого «отдали» внутри всё переворачивается, потому что отдать — значит перестать владеть, а перестать владеть — значит перестать быть, и вот они стоят передо мной — красивые, сильные, взрослые — и не принадлежат себе, и от этого зрелища — не радостно, а мучительно, будто смотришь на птиц с подрезанными крыльями: летать могут, но недалеко, и всегда возвращаются к руке, которая подрезала.

Теперь только я решаю, как им жить и где. Это неправильный закон. Взрослые люди сами должны решать свою судьбу. Я выросла с этим убеждением, и оно вошло не в голову, а в кости, стало не мыслью, а скелетом, и если его вынуть — всё рассыплется, не потому что не устоит, а потому что без скелета — нечем держать. А мужчина так и вовсе должен быть главой семьи — должен содержать свою семью, решать вопросы, быть защитой и опорой для женщины. Как можно опереться на человека, который сидит дома и готовит тебе завтраки? — и от этого вопроса не презрение, а растерянность, потому что я не знаю, как иначе, и незнание это — не невежество, а тоска по порядку, в котором всё понятно: он — опора, она — дом, и каждый на своём месте, и места эти — не клетки, а точки, с которых виден весь мир. На этой планете всё так непривычно и неправильно, словно всё перевернуто с ног на голову, и от этого переворота — не любопытство, а головокружение, будто стоишь на потолке и смотришь вниз, а внизу — пол, и всё знакомое, но чужое, и от этой знакомой чужести — тошнит.

Так, ладно, это всё лирика. Пора что-то делать или хотя бы сказать. Уж слишком долго я молчу и рассматриваю мужчин — и от этого молчания в комнате сгущается воздух, становится

тяжёлым, вязким, как мёд, и каждый вздох даётся с усилием, будто через марлю. Вижу, как они нервничают от затянувшегося молчания: кто-то переминается с ноги на ногу, кто-то сжимает и разжимает кулаки, кто-то опускает взгляд, и от каждого мелкого движения — понимание: им тоже страшно, только по-другому, и их страх — не моего рода, а своего, и от этого — не легче, а тяжелее, потому что чужой страх — не утешение, а груз, который ложится поверх твоего, и ты несёшь оба, и не знаешь, какой тяжелее.

Тут есть на что посмотреть. Никогда не была падка на мужскую красоту — и это правда, не поза, а факт, потому что красота без содержания — как обёртка без конфеты: яркая, но пустая, и от пустоты — разочарование, которое горчит сильнее, чем отсутствие. Но осознание, что они мои — не все и не целиком, но всё же — всё равно повышает самооценку, и от этого повышения стыдно, как бывает стыдно от удовольствия, которое знаешь недостойным, но от которого не можешь — или не хочешь — отказаться. Можно не просто смотреть и давиться слюной, но и трогать, и не только, и от этой мысли — жар, короткий, жгучий, как вспышка, которая выжигает всё на долю секунды, и после — темнота, и в темноте — стыд, и от стыда — желание спрятаться, но прятаться некуда, потому что прятаться нужно от себя, а от себя — не спрячешься. Эх, где мои двадцать лет? Ах, да, совсем забыла. Здесь. Никак привыкнуть не могу — и от этого «не могу» — не отчаяние, а усталость, потому что привычка — это не усилие, а покой, а покоя — нет, и от его отсутствия — каждая секунда в этом теле ощущается как жизнь в чужой одежде: вроде носишь, вроде твоя, но швы тянут, и воротник трёт, и каждый шаг напоминает: это — не ты.

Опять отвлеклась. Смотрю, как напряжены мужчины и чувствуют неловкость под моим взглядом — в их позах, в их лицах, в их глазах, которые мечутся, не зная, куда смотреть: на меня — страшно, в пол — унижительно, по сторонам — странно, и от этой растерянности — не злорадство, а сочувствие, тихое, горькое, как сочувствуют людям, которые оказались в одной лодке, а лодка — течёт, и грести — некуда.

Интересно, что они увидели на моём лице? Похоть? Страсть? Или что-то другое — не голод, а растерянность, не желание, а страх, и от этого вопроса — не любопытство, а надежда: может, они увидят не хищницу, а женщину, которая не знает, что делать, и от этого «не знает» — не слабость, а честность, и честность эта — единственное, что я могу им дать, потому что всё остальное — не моё, а той, чьё тело я ношу.

Что сказать? Что? Ни одной здоровой мысли в голове. Всё, что вертится в мозгу, — «бежать». Бежать. Бежать! БЕЖАТЬ! — и это слово пульсирует, как рана, как сирена, которая воет и воет, и не умолкает, и от её воя — не спасение, а паралич.

«Так возьми себя в руки, тряпка!» — кричу мысленно на себя, и от этого крика — не стыд, а отрезвление, короткое, холодное, как пощёчина, и от неё — мысли выстраиваются, не ровно, не чётко, но выстраиваются, и это уже что-то, и что-то — лучше, чем ничего.

Упираюсь взглядом в Рика — он стоит первым, и от этого — как мишень, как точка, на которую можно опереться, — собираю мысли в кучу и выдаю на одном дыхании, будто выплёвываю слова, пока они снова не рассыпались:

— Знакомьтесь, Билтар, — указываю на высокого мужчину, стоящего с ними в одном ряду, и от этой высоты, от этой прямой, невозмутимой фигуры — спокойнее, потому что в его лице — не покорность, а что-то своё, не поддакивание, а присутствие, и от этого присутствия — опора, неназванная, не признанная, но ощутимая. — Мой третий муж. Это Вил и Марк, — указываю на двоих парней, которые на фоне остальных кажутся подростками. По сути, такими и являются, ну, почти, — и от этого «почти» внутри что-то дрогнуло, потому что «почти» — это граница, а граница — тонкая, и переступить — легко, и от этой лёгкости — страшно, но молчу, потому что сейчас — не время. — Они будут заниматься домом. Выдели всем новоприбывшим комнаты и расскажи, как тут всё устроено. Всё остальное потом. Я очень устала и хочу отдохнуть, — про себя же думаю, что хочу остаться одна и как следует всё обдумать, и

от этого «обдумать» — не план, а тонкая, дрожащая нить, за которую держусь, потому что без неё — падение, а падать — нельзя, не сейчас, не здесь, не перед ними.

Перевожу взгляд на Чара — и в этом взгляде — просьба, не приказ, но он читает именно приказ, потому что привык, и от этой привычки — боль, тихая, тупая, как от занозы, которую не можешь вытащить, но чувствуешь каждый раз, когда задеваешь.

— Проводи меня до комнаты.

Поднимаюсь с дивана — обивка чуть пружинит, отпуская, и от этого отпускания — ощущение, будто что-то решило за меня: вставай, пора, хватит сидеть, и я встаю, потому что сидеть — больше нельзя. Спешу к лестнице — ступени белые, узкие, и от каждой — будто шаг вверх, в темноту, в неизвестность, в комнату, где можно будет закрыть дверь и выдохнуть, и от этой перспективы — ноги несут быстрее, чем думают. Парни тоже приходят в движение — и от этого общего, одновременного оживления комната будто стряхивает оцепенение, оживает, начинает дышать, и в этом дыхании — не покой, но хотя бы движение, а движение — лучше застоя, и от этого «лучше» — маленькая, хрупкая надежда, что, может быть, всё будет хорошо, или не хорошо, а терпимо, а терпимо — уже немало.

Выдыхаю. Меня не раскрыли в первые минуты — это уже радует, и от этой радости — не облегчение, а передышка, короткая, как глоток воздуха между волнами, которые накрывают одна за другой, и каждая — тяжелее предыдущей. Пора подумать, как сохранить свою тайну на долгосрочной основе — и от этой мысли внутри всё сжимается, потому что «долгосрочная» — это не час, не день, не неделя, а жизнь, и жизнь — это долго, очень долго, и от этой долготы — не страх, а тихое, холодное понимание: бежать — некуда, прятаться — бессмысленно, остаётся — играть, и играть хорошо, потому что плохо — опасно, и от этой опасности — не дрожь, а ясность, острая, как лезвие, и от этой ясности — виден каждый следующий шаг, и каждый — как ступень, и ступени ведут — куда? Не знаю, но иду, потому что стоять — нельзя.

Хочу в конце этой главы еще раз освежить в памяти визуалы наших героев.

Первый муж Чар. Второй муж Рик.





Третий муж Билтар. Бывшие рабы Марк и Вилл.





И конечно же сама Валерина.



ГЛА

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.